

В. Суренко

# Исповедь „АНТИСОВЕТЧИКА“





**Виктор СИРЕНКО**

**ИСПОВЕДЬ «АНТИСОВЕТЧИКА»**

документальная повесть

Художник С.В.Сиренко  
Редактор Ю.М.Пищаный  
Лысянка Черкасской области  
2000 г.

Іноді все навколо видається не таким, яким здавалося раніше: події, які відбулися з нами, раптом виявляються ланками зовсім іншого ланцюга; слова, промовлені кимось колись комусь, міняють і автора, і адресата, і зміст; місця, знайомі з дитинства, наповнюються раптом зовсім іншим повітрям, стаючи невідомими; а в людей, яких ми, здавалося, знали багато років, виявляється інше життя... Насправді, це відбувається доволі часто: варто лише поглянути на речі очима іншої людини. Чи не з таких от великих, малих і зовсім крихітних перетворень світу в наших очах і складається процес його пізнання?

Документальна повість Віктора Михайловича Сіренка — це не просто автобіографія. Для більшості з тих, хто його знав, це опис нижньої частини айсберга, верхівка якого мала риси Директора музичної школи: людини доброї, досвідченої, мудрої, завжди готової і ладної допомогти, зробити крок назустріч, людини напрочуд діяльної, енергійної, що керувала не тільки навчально-виховним процесом, але й будівництвом і облаштуванням Школи. Для тих же, кому не пощастило знати автора особисто, ця книга — просто ще один відблиск одної з граней тієї самої нескінченної історії, ім'я якій — Життя.

Зауваження з вдячністю будуть прийняті за електронною адресою pi314@online.ua

Иногда всё вокруг оказывается не таким, каким представлялось прежде: события, происходившие вроде бы с нами, вдруг оказываются звеньями совсем другой цепи; слова, сказанные кем-то когда-то кому-то, меняют и автора, и адресата, и смысл; места, знакомые с детства, наполняются вдруг совсем другим воздухом, становясь неузнаваемыми; а у людей, которых мы, казалось, знали много лет, обнаруживается другая жизнь... На самом деле, это происходит довольно часто: стоит только взглянуть на вещи глазами другого человека. Не из таких ли вот больших, малых и совсем крошечных преобразований мира в наших глазах и состоит процесс его познания?

Документальная повесть Виктора Михайловича Сиренко — это не просто автобиография. Для большинства знавших его — это описание нижней части айсберга, верхушка которого имела очертания Директора музыкальной школы: человека доброго, опытного, умудрённого жизнью, всегда готового и умевшего помочь, сделать шаг навстречу, человека удивительно деятельного, энергичного, руководившего не только учебно-воспитательным процессом, но и строительством и обустройством Школы. Для тех же, кому не посчастливилось знать автора лично, эта книга — просто ещё один отблеск одной из граней той самой бесконечной истории, имя которой — Жизнь.

Замечания с благодарностью будут приняты по электронному адресу pi314@online.ua

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся!»  
(Народная поговорка)

## От автора

Эта книга о том, как война ломала судьбы людей. Как дети 1925-1929 гг. рождения, с преступной небрежностью брошенные «Матерью-Родиной» на произвол судьбы, сначала стали заложниками обстоятельств, затем изгоями в своей стране, мучениками, а впоследствии ещё и виновниками своей нелёгкой судьбы, людьми третьего сорта, вынужденными или всю свою жизнь ходить с клеймом «бывших в немецкой оккупации», в «остарбайтерах», в лагерях военнопленных, или всё это тщательно скрывать, потому что не было «ходу пароходу». Многим из них пришлось «искуплять свои грехи» ещё и в различных строительных формированиях или в ГУЛАГах по надуманным или ложным обвинениям.

Поговорка в эпиграфе выбрана мною не случайно. Достались мне в полной мере и сума, и тюрьма. Моя довольно продолжительная жизнь подтвердила, что человек вовсе не «кузнец своего счастья». Он большей частью заложник или жертва обстоятельств, поставленная посторонними силами в такие условия, что только и остаётся, что подчиниться неумолимому року судьбы.

Принято говорить, что безвыходных ситуаций не существует. Выходов действительно может быть несколько. Но как выбрать самый лучший вариант? То-то и оно. Вот пример: в 1942 году в оккупированной немцами Украине проводился массовый угон молодёжи в Германию. Мне не повезло: был угнан, побывал в «остарбайтерах», бежал, был пойман, побывал в GESTAPO, потом в концлагере, побывал на войне, потом угодил в ГУЛАГ на Колыму. И всё-таки, пусть и через 13 лет, живым и здоровым возвратился домой в родной Корсунь.

Некоторым моим сверстникам с нашей улицы «повезло»: они избежали угона, благополучно дождались подхода «наших» под самые стены Корсуни. До свободы оставалось «рукой подать», может быть всего несколько часов. Но тут фортуна им изменила. Погреб, где они решили укрыться от шальных пуль и снарядов, обнаружили отступавшие немцы. Бросив в погреб гранату, они то, что осталось от ребят, облили бензином и подожгли.

Вот как непросто сделать правильный выбор.

«Фатализм», «фаталисты» — долго для меня были непонятными пустыми словами. Нескоро дошло их коварное значение. Чего хочешь

— не добьёшься, куда хочешь — не попадешь. И наоборот: чего не хочешь — получишь, куда не хочешь — обязательно «вляпаешься».

Я очень хотел стать кадровым военным, но не стал. Меня ещё и обвинили в «недовольстве службой в армии». Я никогда не хотел быть заключённым, но был им дважды. Я никогда не жаждал немецкой оккупации, но кто меня об этом спрашивал, когда пускал немцев на территорию Украины?

Не раз было такое: ожидаешь подвоха — получаешь сочувствие и помощь; надеешься на доброту и преданность — получаешь «нож в спину». Разве не парадоксально, что меня, отнюдь не сторонника «третьего тысячелетнего рейха», от смерти в концлагере спасли сами немцы. А в советском ГУЛАГе мне, «антисоветчику» (которым я никогда не был), не дали пропасть высокого ранга коммунисты. Если отбросить все «-исты» (нацисты, коммунисты) — просто хорошие люди.

Я не сделал ничего плохого ни немцам, ни «советам». Но и те, и другие «отблагодарили» меня одинаково щедро.

Какая-то мистика, да и только! Убеждённый атеист, я уже начал верить в потусторонние силы или предначертания судьбы. Впервые на эту мысль меня натолкнул ещё в концлагере форарбайтер моей последней концлагерной рабочей команды немец Вилли. В минуты своих поучений и откровений он как-то сказал, что в жизни каждого человека фатально неизбежны взлёты и падения: то человеку необыкновенно везёт, словно ему помогает сам дьявол, то преследует цепь неудач. Вилли оказался прав. Со мной это было всю мою жизнь.

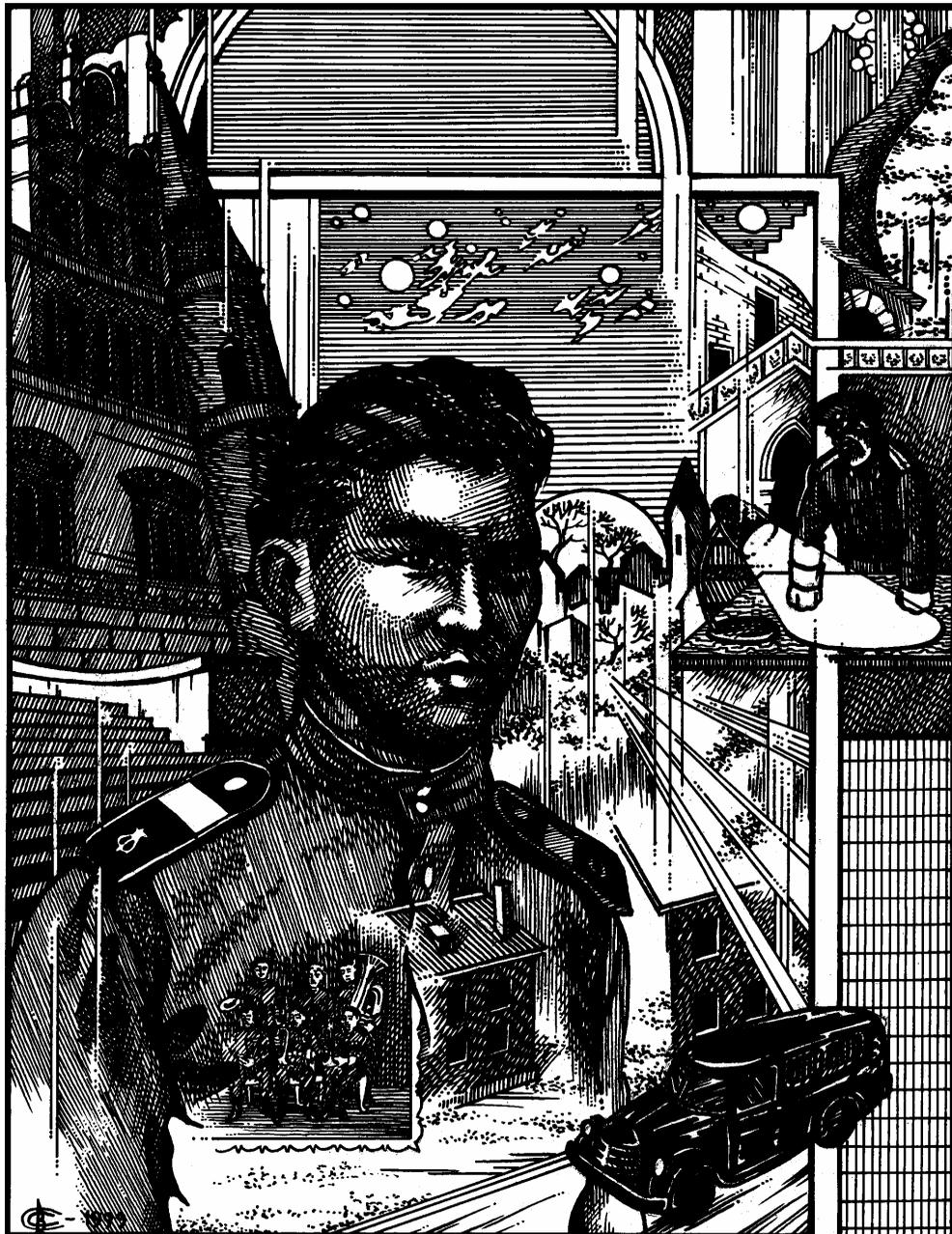
С грустью признаю, что такие высокие, всеми желанные понятия, как вечная дружба, справедливость, совесть, честь, преданность, порядочность — всего лишь желанные мифы. Ведь недаром говорят: «Первый друг — первый враг!»

Всегда истинной считаю поговорку «Век живи — век учись!» — знаний всегда не хватает.

«Исповедуюсь», я старался освободиться от принятых стереотипов в трактовании и отображении событий тех далёких времён. Описываю только то, что было со мной, понимая, что с кем-нибудь другим в то же самое время, в тех же самых местах могло быть и, возможно, было совсем по-другому.

Поэтому я не претендую на истину в последней инстанции.

Прилагаемые художественные иллюстрации выполнены художником с моих слов и лишь частично на основе архивных материалов.



ЧАСТЬ I. ГРИМАСЫ СУДЬБЫ





Генерал-майор Управления  
при Кабинете Министров Украины

**ОБЛАСТНИЙ ДЕКАНАВИЙ АРХИВ**  
Черкасский областной архивный кабинет  
12.02.96 № 07-04/254  
по адресу: в/а 09.02.42, в  
м. Черкасск

АРХИВНА КИЛКА

П Р И Г О В О Р № 4

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
14 марта 1950 года военный трибунал войсковой части 92401 в составе:

Председателя и двух его членов, при секретаре трибунала, в закрытом судебном заседании, в расположении Военного Трибунала, рассмотрел дело по обвинению старшины духового оркестра войсковой части полевая почта 70699 старшего сержанта

**СИРЕНКО Виктора Михайловича**, 1926 года рождения, украинца, уроженца гор. Смела Киевской области, холостого, с образованием в 7 классах, бывшего члена ВЛКСМ с июня 1946 года, исключенного в связи с настоящим делом, несудимого, в Советской Армии с марта 1946 года по призыву Полевого военкомата в преступлении предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. Материалами предварительного и судебного следствия, военный трибунал —

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый СИРЕНКО В.М., проходил службу в Советской Армии и будучи старшиной духового оркестра, в течение 1949 года систематически проводил среди своих подчиненных военнослужаших антисоветскую агитацию, высказывал свое неверие в советскую печать, возводил клевету на жизнь трудящихся в Советском Союзе, при этом восхвалял жизнь в капиталистических государствах и их культуру. Клеветал на руководителей партии и советского правительства, извращал советскую действительность, восхвалял капиталистические армии и их боевую технику, высказывая пораженческое настроение и недовольство службой в Советской Армии.

2

На основании изложенного, Военный Трибунал признал виновным СИРЕНКО в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР; по упрекам, что СИРЕНКО за время службы имеет четыре поощрения и награжден тремя орденами, находит возможным признать и ему полное освобождение от наказания в виде лишения права, предусмотренного ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, и, удовлетворить ст. 58-10 ч. II УК РСФСР.

П Р И Г О В О Р Ь :

Сиренко Виктор Михайлович, на основании ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР и санкции ст. 58-2 УК РСФСР лишиться полного освобождения от наказания и лишиться права, предусмотренного ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, сроком на 30М /Д/ год, с лишением всего имущества.

Лишить Сиренко права: «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и «за участие в боях». Власти Советского Союза в Президиум Верховного Совета СССР о нападении Сиренко: «за войну Советской Армии и флота».

Срок отбывания наказания Сиренко с датой предварительного заключения исчислять с 3 декабря 1949 года.

Приговор окончательный и подлежащий обжалованию не подлежит.

Председательский подпись  
Члены подпись  
Члены подпись

Подпись: П-5625, от. 1, отп. 2198, апр. 200, 28000, 201

3 критический вступ  
В.А. директор

М.3.3012



## П Р И Г О В О Р № 4 4

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
14 марта 1950 года военный трибунал войсковой части 92401 в составе:

Председателя и двух его членов, при секретаре трибунала, в закрытом судебном заседании, в расположении Военного Трибунала, рассмотрел дело по обвинению старшины духового оркестра войсковой части полевая почта 70699 старшего сержанта

**СИРЕНКО Виктора Михайловича**, 1926 года рождения, украинца, уроженца гор. Смела Киевской области, холостого, с образованием в 7 классах, бывшего члена ВЛКСМ с июня 1946 года, исключенного в связи с настоящим делом, несудимого, в Советской Армии с марта 1945 года по призыву Полевого военкомата в преступлении предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. Материалами предварительного и судебного следствия, военный трибунал —

### У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый СИРЕНКО В.М., проходя службу в Советской Армии и будучи старшиной духового оркестра, в течение 1949 года систематически проводил среди своих подчиненных военнослужаших антисоветскую агитацию, высказывал своё неверие в советскую печать, возводил клевету на жизнь трудящихся в Советском Союзе, при этом восхвалял жизнь в капиталистических государствах и их культуру. Клеветал на руководителей партии и советского правительства, извращал советскую действительность, восхвалял капиталистические армии и их боевую технику, высказывая пораженческое настроение и недовольство службой в Советской Армии.

На основании изложенного, Военный Трибунал признал виновным СИРЕНКО в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, но учитывая, что СИРЕНКО за время службы имел четыре поощрения и награждён тремя медалями, находит возможным не применять к нему полных санкций ст. 58-10 ч. II (58-2) УК РСФСР и, руководствуясь ст. 319-320 УК РСФСР

П Р И Г О В О Р И Л :

Сиренко Виктора Михайловича, на основании ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР с санкции ст. 58-2 УК РСФСР подвергнуть лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях сроком на ДЕСЯТЬ (10) лет, с последующим поражением в правах, предусмотренных п.п. "а", "б", "в" и "г" ст. 31 УК РСФСР сроком на ТРИ (3) года, с конфискацией всего имущества.

Лишить Сиренко медалей: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» и «За взятие Берлина».

Войти с представлением в Президиум Верховного Совета СССР о лишении Сиренко медали «30 лет Советской Армии и Флота».

Срок отбытия наказания Сиренко с зачётом предварительного заключения исчислять с 3 декабря 1949 года.

Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.

Председательствующий (подпись)

Члены (подпись)

(подпись)

## 1. Военный трибунал

Этот приговор был зачитан 14 марта 1950 года на закрытом заседании военного трибунала войсковой части №92401 его председателем — высоким, сухопарым, седоватым подполковником юстиции Сухановым. Подполковник провёл заседание торопливо, но деловито. Слово прокурору, слово мне, слово нескольким «свидетелям», всего каких-то двадцать минут — и процесс окончен. Пока председатель торжественно, с излишним пафосом перечислял в приговоре все мои «грехи» — я был как в чадуге и «возмездие» в 10 лет ИТЛ воспринял спокойно. Именно столько пообещал мне следователь, если буду «хорошо себя вести» на допросах. Следователь — капитан Доленко — своё обещание выполнил.

Когда председатель умолк, участники процесса покинули зал. Мне дали что-то подписать и отправили в камеру.

## 2. Нежданный гость

В этот миг я был рад одиночеству в своей камере-одиночке, где обитал уже больше трёх месяцев. Судебный процесс утомил. Хотелось прийти в себя, собраться с мыслями, просто побыть одному. Но не довелось: загремели запоры, на пороге раскрытой двери выросли двое — неизвестно чему улыбающийся надзиратель и незнакомец в военном обмундировании, но без ремня и погон.

— Принимай гостя, Сиренко! Вдвоём, поди, веселее будет! — произнёс надзиратель и, погремев засовами, удалился.

— Александр, из танковой части, — представился незнакомец. — Вот, только что трибунал «окрестил» на семь лет за самоволки и драку. А ты за что и откуда, если не секрет?

Я назвалса.

— Ба-а! Да я тебя знаю. То-то думаю, откуда мне знакомо твоё лицо? Теперь ясно. Видел тебя в составе духового оркестра артбригады.

Всё верно. Наши с ним войсковые части размещались за одним забором. В танковый полк, как и наоборот, можно было запросто попасть через формально охраняемый шлагбаум. Своего оркестра танкисты не имели, и по праздникам, по соседски, их обслуживали мы.

Мой гость устроился на вместительном деревянном помосте, слово за слово — мы разговорились. У Александра была типичная «благополучная» биография юноши военного времени: родился, учился, призвался в армию, воевал, служил в армии после войны. Теперь, за жажду приключений и неуставные отношения, по собственной дурости угодил в каталажку, да ещё и на семь лет. Его рассказ о себе уложился в несколько десятков минут. Зато мой растянулся на несколько дней. Соскучившись по человеческому общению, я говорил без умолку, начав с ареста...

### 3. Арест

Шверин, военные казармы на окраине города, 3 декабря 1949 года. Накануне — ни плохих снов, ни тревожных предчувствий. С утра и до вечера я был бодр и деятелен. Управившись со своими старшинскими делами, уже под вечер я возвращался к себе в казарму. В стороне, но неподалёку от входных дверей, стоял чужой, не нашей части, большой, чёрного цвета, трофейного производства легковой автомобиль. Он произвёл на меня отталкивающее впечатление, и я сравнил его с «чёрным вороном», которым пугали людей в 1937 году. Пока поднимался на четвёртый этаж, об автомобиле забыл. В казарме был порядок, и все люди на месте. Перекинувшись парой слов с оркестрантами, я удалился к себе в каптёрку, где проживал вместе с двумя сверхсрочниками. А пока их не было — взялся за учебники: я готовился к вступительным экзаменам в Московский институт военных дирижёров. В штабе бригады имелась разрядка на одно место, и, по решению командования, оно было моим. После демобилизации я решил дальнейшую свою жизнь связать с армией, став военным дирижёром. Но почему-то сегодня науки в голову не лезли. И я без сожаления отложил учебники в сторону, как только из города возвратились сверхсрочники. Поговорив о том, где они были и что видели, мы стали готовиться ко сну. Неожиданно к нам в казарму пожаловал очень редкий гость — дежурный по части, знакомый мне старший лейтенант. Расспросив, все ли на месте и всё ли в порядке, он удалился, предупредив, что ночью возможна учебная тревога, и я должен проследить, чтобы никто не «улизнул» в самоволку.

Наступило время отбоя, и мы улеглись спать. Но сон был недолгим. Послышались стук в дверь, возня нашего дневального с запором, топот сапог и громкий вопрос: «Где старшина?»

— Здесь, — ответил дневальный, очевидно, указав на каптёрку.

В распахнутую дверь ворвались незнакомые майор с капитаном, дежурный по части, два автоматчика. Кроме них — ещё два офицера с батареи управления.

— Фамилия?! — обратился майор к одному из сверхсрочников.

— Мокрый Николай, — ответил тот.

— Одевайся и выходи!

— Фамилия?! — обратился майор к другому.

Тот назвался.

— Одевайся и выходи!

Сверхсрочники вышли.

— Фамилия?! — обратился майор ко мне.

Я назвался, немного привстав.

— Сидеть! — гаркнул майор. — Именем Союза Советских Социалистических Республик, вы арестованы!

От неожиданности я опешил и что-то промямлил дрожащими губами, не соображая ещё, что говорить и что делать. А майор продолжал командовать:

— Капитан, приступайте к обыску! Вот ордера на арест и на обыск, — потрясая бумагами, повернулся ко мне.

В считанные минуты каптёрка была перевёрнута вверх дном. От пристального внимания «искателей» ничего не могло укрыться ни в щелях, ни в складках одежды. Но ничего подозрительного не нашли — всё было казённым.

Сидя на койке, я наблюдал за происходящим и не верил, что всё, что сейчас происходит, относится непосредственно ко мне. То ли от холода, то ли от волнения меня бил озноб. Наконец, обыскав моё обмундирование, мне разрешили одеться. Я подписался в протоколе обыска, и два автоматчика — один спереди, другой сзади — увели меня из казармы и усадили в тот самый большой, чёрный, трофейного производства автомобиль, в самом деле оказавшийся «чёрным вороном», приготовленным специально для меня.

Везли в Шверин знакомой дорогой. По ней мы водили артбригаду на стадион, в Дом офицеров на концерты, а демобилизованных — на вокзал. Да и сам я часто по ней ходил в город по хозяйственным делам. Миновав конечную трамвайную остановку, автомобиль резко свернул налево и остановился у знакомых ворот. Что было за воротами — я не знал, но хорошо запомнил, что ворота выкрашены в зелёный цвет, и

возле них всегда торчал часовой. Заехав во двор, мы остановились возле двухэтажного деревянного особняка. Здесь, как оказалось, размещался гарнизонный отдел КГБ. По скрипучей винтовой лестнице меня доставили на второй этаж в жарко натопленную комнату.

— Обработать! — приказал майор находившемуся здесь старшему сержанту с эмблемами внутренних войск.

Я не спеша разделся, и в рядом стоявшую печь полетели мои погоны, петлицы, шнурки, тесёмки, шинельный хлястик, пуговицы. Потом я оделся, не зная ещё, что делать с падающими без ремня и пуговиц брюками. Затем меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, запротоколировали сданные документы, деньги, часы, и отправили в КПЗ.

Камеры предварительного заключения размещались в подвале соседнего здания, по обе стороны коридора за массивными железными дверями. Надзиратель радушно распахнул одну из них:

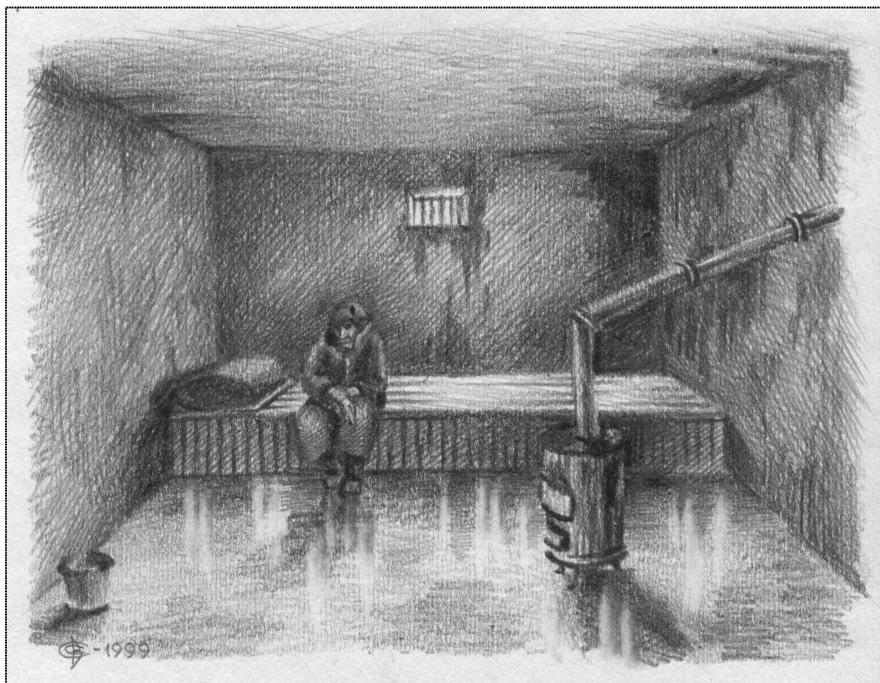
— Заходи!

Я вошёл и осмотрелся. Камера вместительная, но сырая, холодная, и воняла карболкой. На стенах — капли воды. Пол — цементный. На полу вместо нар — деревянный помост. На помосте у стены — калачиком свёрнуты матрацы, на них — подушки, набитые соломой. В левом углу камеры — огромное железное ведро-«параша». В центре — чугунная печка-«буржуйка» немецкого образца. В дверях — «глазок» и «кормушка». Над дверью, в маленькой зарешёченной нише, тускло светила маловаттная лампочка. Напротив дверей, по центру под потолком находилось небольшое окно. Но свет сквозь него не пробивался даже днём. В этой камере мне предстояло провести в одиночестве более трёх месяцев, но я об этом ещё не знал.

Надзиратель принёс мне два байковых одеяла и посоветовал немедленно лечь — уже поздно, а подъём в 6<sup>00</sup>. Я развернул матрац и улёгся в чём был, не раздеваясь, в сапогах и в шапке, укрывшись с головой двумя одеялами — в камере было холодно, как на улице.

Утром меня разбудил надзиратель:

— Подъём! Постель на место, приготовиться к opravке!



1949 г. Шверин, КПЗ, в камере-одиночке.

Это означало: свернуть постель и идти к умывальнику, прихватив с собой «парашу». Холодная вода чуть взбудрила, но на душе было гадко. Беспокоил единственный вопрос: «За что?»

Спать и лежать до отбоя не разрешалось, ходить не было сил, но и сидеть в нетопленной камере было пыткой. Не помогали и два одеяла, выброшенные поверх шинели. Через пару часов надзиратель притащил несколько полешек дров и штук 8-10 брикетов.

— Топи печь и грейся!

Растопленная печка быстро нагрелась, но перегорели брикеты — и тепло быстро улетучилось. На дворе — декабрь, а печка топилась таким вот образом один раз в сутки.

К первому завтраку я не притронулся. Не было аппетита, и было не до еды. Мне хотелось побыстрее узнать, что случилось, почему я здесь. Ни малейшей провинности я за собою не чувствовал — ведь я так старался хорошо и преданно служить! И вот на тебе — не иначе, как какой-нибудь сговор. Конечно

же, со мной разберутся и выпустят, думал я, но сколько же ещё придётся здесь торчать?

В ожидании вызова на допрос прошёл весь день. Под вечер я не выдержал и забарабанил кулаками в дверь. В «кормушке» показалась голова надзирателя:

— Тебе чего?

— Я почти сутки жду, а мне никто не говорит, за что...

— Понадобисься — вызовут. Сегодня воскресенье, выходной день. Понятно? — вразумил меня надзиратель, захлопнув «кормушку».

Я понял, что мне придётся терзаться в неведении ещё не менее чем до завтра. Но я же задубею в этом холоде!

На следующий день я был весь внимание и к шагам в коридоре, и к грохоту дверных запоров — но тщетно. Мною никто не интересовался. И только поздно вечером, перед самым отбоем, за мной пришли.

#### 4. Следствие

На допрос я шагал с надеждой — попал по ошибке, разберутся и выпустят.

В маленькой комнате на втором этаже за письменным столом сидел лейтенант Акимов, оперуполномоченный СМЕРШ нашей артбригады, личность мне хорошо знакомая. Я даже обрадовался, что встретил здесь «своего», и поздоровался первым.

— Здорово! — как всегда небрежно ответил лейтенант.

— Товарищ лейтенант, объясните, наконец, — за что я арестован?

— Разберёмся. Это во-первых. А во-вторых — я тебе больше не товарищ, а гражданин лейтенант. В третьих, здесь вопросы задавать буду только я, а ты будешь на них правдиво отвечать. Уразумел?

— Да, конечно. Но я ничего не совершил и никакой вины за собой не чувствую.

— Разберёмся. У нас на первых допросах все так говорят. В общем, я буду вести твоё уголовное дело, если ты не против. А если против — можешь дать мне официальный отвод.

— Ну что вы! Конечно же, нет!

— Тогда распишись, что ознакомлен со статьёй, предусматривающей за дачу ложных показаний до двух лет ИТЛ.

Я расписался. Ещё раз заполнив мои анкетные данные, лейтенант Акимов предложил подробно рассказать автобиографию, ничего не утаивая, так как обо мне и так всё знает, но надо для дела уточнить кое-какие детали. И я начал свой рассказ.

## 5. Корсунь. Довоенный период

До войны Корсунь был больше похож на село, чем на город. Он был, если не считать нескольких двух- трёхэтажных домов, сплошь одноэтажным. В его городской черте существовали три колхоза, торфотуковый и литейный заводы, электростанция, лозовая и пуговичная фабрики, нефтебаза, молочарня,



*Корсунь. Родовой замок князей Демидовых-Лопухиных.*

*До 1941 г. Дом отдыха железнодорожников.*

железнодорожное хозяйство с очень красивым вокзалом, Дом отдыха железнодорожников в бывшем княжеском замке,

больница, четыре школы, хлебопекарня и несколько мелких коммунальных предприятий.

Территория города и прилегающих земель была поделена между тремя колхозами. Ближайший из них — «Червона п'ятирічка» — был совсем рядом, через четыре хаты от нашей, в центре Сотницкой улицы (ныне Кирова). Мои дедушка с бабушкой были колхозниками, и образ жизни наш был колхозный. «Червона п'ятирічка» занимала земли между железнодорожным полотном, руслом р. Рось от железнодорожного моста до ГЭС, речкой Корсункой, Красным Хутором, с. Саморидня и землями сотницкого колхоза. Члены «Червоної п'ятирічки» жили на Писках, Тартаке, Красном Хуторе, на улицах Вокзальной, Сотницкой, Саморидницкой, Можаявской, Саморянской.



*Корсунь. Река Рось между парком и Тартаком.*

Земли с противоположной стороны города занимал колхоз «Червона зірка». Они тянулись по реке Рось до Стеблѐва и Выграева. Третий, еврейский колхоз «Евпахарь», занимал земли со стороны Богуслава.

Сельский образ жизни наложил отпечаток на всё моё детство. Прожив два сезона в пастухах, я с 10-летнего возраста ежегодно с мая по сентябрь становился колхозником. В 6<sup>00</sup> был на наряде, а с 7-8<sup>00</sup> и до захода солнца — в поле. Кем только я не был! Коноводом на жатке, на гребке, около сетки на молотилке, укладывал снопы в копны по ночам, чтобы не осыпалось зерно. А с 12 лет работал исключительно в огородной бригаде. Сначала коноводом, а после смерти ездового — деда Мусия — мне доверили его пару лошадей и всё, что к ним полагается: воз, плуг, бороны, культиватор, распашку и прочий «реманент». За всё это я нёс полную материальную ответственность и выполнял все положенные работы наравне со взрослыми.



*1938 г. Корсунь. Работа на гребке.*

Работа ездового огородной бригады была разнообразной и строго цикличной. В мае — культивация, боронование, маркировка, посадка растений. В июне — уход за ними: опять культивация, распашка, подвоз воды для полива, окучивание. В июле-августе — вывоз с поля готовой продукции на базар, на комору, на заготпункты. Продукция была разнообразной и

вкусной: огурцы, помидоры, редиска, лук, клубника, арбузы, дыни, различные фрукты. Всем этим добром я и сам лакомился без ограничений, да ещё и домашних своих потчевал.

Лето в колхозе я проводил не только ради заработка (он был невысок), но и потому, что работа в колхозе мне нравилась, а я, хоть и на короткое время, избавлялся от надоедливой опеки взрослых. А ещё я очень любил лошадей: трудягу Карого и ленивого, упрямого, кусучего Каштана. Домашние были довольны — я всё лето находился при деле.

В колхоз меня затащил мой великовозрастный друг Иван Усаченко, сосед через дорогу. Он рано бросил школу, едва окончив пять классов, и стал огородником. Громадного роста, сильный и добрый, он поначалу меня просто «катав на возі». Когда я подрос — взял к себе коноводом. Это он научил меня уходу за лошадьми, за сбруей, за возом, пользованию сельхозорудиями, премудростям всех сельхозработ. Работу самостоятельного ездового мне доверили по его протекции.

Колхозники, показывая на меня пальцами, пророчили: «Этот будет наш!» Но своим в колхозе я становиться не собирался. Мне нравились военные. Тогда они были в большой моде. И родные, и «чужие» настойчиво меня уговаривали не связывать свою взрослую жизнь с колхозом и успокоились только тогда, когда я, окончив 7 классов, подал заявление в восьмой, чтоб окончить 10 классов и поступить в Ленинградское высшее военно-инженерное училище. Уже в шестом классе я взялся за ум, стал лучше учиться, поправил оценку по поведению.

В 1941 году я ушёл из огородной бригады. Иван окончил курсы трактористов и взял меня к себе прицепщиком на трактор «ХТЗ». Мы с ним опять стали работать вместе. Иван быстро научил меня вождению и прочим работам. Убедившись в моей самостоятельности, он стал часто и надолго отлучаться. Этому я был только рад. Гордо восседая на тракторе, я красовался перед своими сверстниками, вызывая зависть. Родные были в восторге. Работа прицепщика оплачивалась гораздо выше, чем ездового, и я задался целью к осени приодеться. Но мечтам сбыться не судилось. Началась война. Ивана и его одно-

годков отправили за Днепр. По дороге их колонну разбомбили немцы. Иван и его попутчики погибли.

Некоторое время, до угона трактора за Днепр, я работал трактористом самостоятельно, а потом пришлось снова вернуться в огородную бригаду к лошадям. И проработал я ездовым до самого прихода немцев.

Таким вот образом я проводил летнее время до начала войны. Остальное время года — учился в школе №2. Особым прилежанием не отличался, но двоек не имел. Почти все письменные задания выполнял в классе на уроках. Устные дома учил редко. Постоянно имел проблемы с поведением. Низкие оценки по этому «предмету» и нарекания учителей нередко вынуждали мою мать братья за верёвку.

При школе работали самые разнообразные кружки: драматический, танцевальный, авиамодельный, радиолобителей, шахматный, хоровой, а также струнный оркестр. Я посещал шахматный и струнный. Бренкал там по слуху на балалайке.

Самым любимым предметом у меня была физкультура. Тут я имел неизменную «5». Я хорошо бегал, плавал, прыгал в длину, ходил на лыжах, бегал на коньках. До работы в колхозе, как и все сверстники, совершал набеги на колхозный баштан и сады, не чурался всех мальчишеских затей: кто выше залезет на дерево, кто дольше просидит под водой, кто больше раз переплывёт Рось, глубже нырнёт, поднимет тяжёлый груз. В этом я не был отстающим. А со своим одноклассником Игорем Оводовским мы конструировали детекторные приёмники.

Дома у меня был постоянный круг обязанностей: принести воды из колодца, растопить печку, сходить в магазин за покупками, накормить свинью, убрать навоз и т.п. А ещё я был заядлым читателем райбиблиотеки. В общем, был как все.

## 6. Война

Войной пахло задолго до её начала. В 1940 году заметно победнели магазины. Хлеб выдавался не по карточкам, а продавался по спискам в прикрепленных к улицам магазинах. Рабочему полагалось 900 граммов, служащему — 700, иждивенцу — 400, а колхозникам — ничего. Ежедневно я покупал в мага-

зине 1 кг 100 г хлеба. Разделив на четверых, получалось всего по 275 г на человека. Не густо для «счастливой довоенной жизни»!

Ни для кого не было секретом, что по ночам в сторону Киева по железной дороге один за другим следуют эшелоны с военной техникой и людьми. О том, что война будет, и будет именно с немцами — шептали все, кому не лень, невзирая на сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года. Тем не менее, она застала всех врасплох. Никто не ждал её 22 июня. Я тоже. У меня был выходной. Думал, отосплюсь, потом пойду на Рось, вечером — в парк, в кино. А в понедельник, 23-го, в 6 утра — на работу в поле. Но ни свет ни заря меня разбудила бабушка:

— Вставай! Годі спати — війна почалась!

Спросонок я ничего не понял:

— Какая ещё война? Дайте мне выспаться — у меня же выходной!

— Та справжня війна! Німець напав. Сама чула по радіо, — не сдавалась бабушка.

Я встал, выглянул в окно. По улице, как ни в чём ни бывало, торопились на ярмарку селяне, беззаботно и весело переговариваясь. На войну вроде бы не похоже. Уж не разыгрывает ли меня бабушка? Сон она мне перебила, и я решил разузнать всё поточнее у своего школьного товарища Игоря Оводовского. Но он только-только проснулся и о войне ничего не ведал. Его отец очень рано ушёл на рыбалку, а мать выключила радио, чтобы дать в воскресенье всем выспаться.

С новостью о войне мы с Игорем решили пойти к его отцу. Он спокойно ловил рыбу и тоже о войне ничего не знал, но в момент смотал свои снасти и направился домой. По дороге у встречных людей мы тоже толком ничего не узнали. На наш вопрос многие отвечали шёпотом: «Да вы что, хотите загреметь?» Только в 12 часов дня всё стало ясно. Выслушав по радио речь Молотова, я поспешил домой. Теперь уже и на улице, и дома все говорили о войне и о том, как теперь быть и что делать. Но никто ничего не делал, и у меня всё валилось из рук. Мы ждали указаний.

Указания поступили на следующий день. Началась мобилизация. И не только людей, но и автомобилей, тракторов, лошадей с повозками. Была команда снести к горсовету радиоприёмники. Корсунь, переполненный мобилизованными и провожающими, пришёл в движение. Небольшая территория райвоенкомата не могла вместить такую огромную массу людей. Местом сбора мобилизованных стал парк. Одни пели и плясали — другие пребывали в слезах и печали. Пляшущие верили в скорую победу и возвращение домой. Плачущие прощались со своими вроде как навсегда.

Первые два дня мобилизации я с утра до вечера торчал в парке, забыв про всё на свете, включая работу. Но однообразие быстро надоело, да и бригадир напомнил, что у земли нет выходных — пора вернуться к трактору: время военное, и все мы теперь мобилизованные.

Наш колхоз быстро приходил в упадок. Всё, что было лучшего — люди, лошади, техника — ушло на фронт. Оставшиеся — женщины, старики, инвалиды, дети — с объёмом работ не справлялись. Начальство нервничало, суетилось, но дело всё равно спорилось плохо.

Когда эвакуировали моего тракториста Ивана, мне пришлось туго. Я умел только заводить трактор и рулить им. А этого для довоенного ХТЗ было мало: подтяжка и даже мелкий его ремонт были мне ещё не по зубам. Но через пару недель и мой трактор угнали за Днепр. Пришлось возвращаться к лошадям в огородную бригаду: они остались без ездового.

Жизнь и события в Корсуне менялись, как в калейдоскопе. Прошла массовая мобилизация — появились беженцы. Они ехали в поездах, облепив тормозные площадки, крыши вагонов, открытые платформы, голодные, измученные, несчастные. Потом они ехали на редких автомобилях, повозках, шли пешком. На вопросы старались не отвечать или говорили намёками. Мало кто отваживался шёпотом сообщить, что война совсем не такая, как о ней говорят по радио. А радио целый день передавало бодрые песни и марши. В промежутках Совинформбюро сообщало, что наши войска героически сражаются за город Н. или А. на энском направлении.

Потом начался массовый угон скота за Днепр. Мычашие и блеющие многочисленные стада — непоенные, недоенные, голодные — заполнили все дороги, поднимая облака пыли.

Для поимки диверсантов был создан истребительный конный отряд из лиц, не подлежащих мобилизации по состоянию здоровья в возрасте от 18 лет и старше. Отряд дислоцировался в лесу «Круглик», но часто появлялся в Корсуне. С карабинами за плечами и саблями на боку всадники стали кумирами местных мальчишек, напоминая им фильмы о гражданской войне 1918 года.

Примерно в первой декаде июля немцы впервые бомбили Корсунь, точнее, — его железнодорожную станцию. Но самые первые три немецких бомбы были сброшены на меня и моих товарищей.

В этот день я, Володя Сахацкий и Виктор Усаченко (мои соседи) культивировали на «Ваканцах» колхозный баштан. Со стороны с. Сотники послышался гул самолётов, совсем непохожий на гул наших. Когда самолёты приблизились, стало заметно, что они отличаются и конфигурацией, и окраской. А увидев на фюзеляжах кресты, мы окончательно убедились, что это немцы.

— Тікаймо! — крикнул Виктор.

Бросив лошадей, мы залегли под возом. Но, сообразив, что это укрытие ненадёжно, побежали к железнодорожной посадке. Однако, не добежали. От самолётов отделились чёрные точки и с воем начали быстро приближаться к земле. Застрочил пулёмёт, и мы дружно плюхнулись на землю. Бомбы разорвались в том самом месте лесопосадки, куда мы направлялись.

Когда самолёты удалились в сторону вокзала, мы подбежали к месту разрывов. Земля вокруг трёх воронок всё ещё дымилась, на земле валялись горячие осколки, на одной из веток торчал стабилизатор бомбы. Железнодорожное полотно было цело. А со стороны станции доносились взрывы. Прихватив стабилизатор и несколько осколков, мы побежали к лошадям. Они мирно паслись неподалёку от воза.



1941 г. Корсунь. «Ваканці». Перва бомбёжка.

Работать расхотелось, а только что увиденное нагнало на нас немного страха. Пока самолёты не вернулись, мы решили убраться отсюда от греха подальше и отправились домой.

Около дома меня встретила бабушка:

— Добре, що ти повернувся. Німці бомбили станцію — чув?

— Не лише чув, а й бачив, бо й нас бомбили. Ось, дивіться, — показав ей свої «трофеї».

— Цяцьок поназбирав! А що мати на станції — забув?

Только сейчас до меня дошло, что мать моя сегодня на дежурстве. Нахлёстывая лошадей, я помчался к ней. Пять километров — путь неблизкий. Но вот и станция. Здесь полное разорение: вокруг разбитые стёкла, бумага, деревянные щепки, мусор. На ступеньках вокзала и в скверике сидят люди. Бомбы попали в двухэтажный жилой дом, в погреб, разворотили в нескольких местах железнодорожные рельсы. Но больше всего досталось мастерским. Там было убито 24 человека, в том числе и отец моего школьного друга Яровчика, отменный

мастер. Здание вокзала, если не считать нескольких выбитых окон, не пострадало. Моя мама стояла за стойкой буфета и что-то писала. Увидев меня, она очень обрадовалась. Я тоже. Оказалось, во время бомбёжки она не покидала здания — стерегла свой буфет.

По дороге домой она рассказала, что налёт был настолько неожиданным, что понимать, что произошло, она начала только после того, как самолёты улетели. Только тогда у неё появилось чувство страха. Я рассказал матери о том, что приключилось со мной и моими товарищами на «Ваканциях», и она запретила мне ходить на работу — не хотела за меня лишний раз волноваться. Но наш бригадир был иного мнения:

— Виктор, время военное, в колхозе работать некому, а фронту нужны будут продукты питания. С твоей матерью я поговорю сам. Думаю, она читала приказ Сталина и понимает, что скидки на возраст тебе не будет.

Лично я был не против и продолжал ходить на работу. После угона животных за Днепр их количество в колхозе очень сократилось. Но и за оставшимися ухаживать было некому. Поэтому колхозное начальство приказало временно разобрать их по домам. Теперь «мои» лошади, воз и весь «реманент», за который я отвечал, находились у нас на подворье. Только теперь я понял, что это за бремя — держать дома лошадей. Их надо было не только кормить и поить, но ещё и чистить, заготавливать корма, навещать ночью. В мои 15 лет управляться со всем этим было нелегко. Я не показывал виду, что устаю, но чувствовал, как тают мои силы.

Война по-прежнему была «где-то». Из газет и радио можно было узнать, что «...после ожесточённых боёв наши войска оставили город Н...» Поди знай, где этот город! Плакаты и объявления на заборах и стенах домов призывали сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться панике, выходить на свои рабочие места; о дезертирах, диверсантах, саботажниках, распространителях вражеских слухов доносить немедленно. Войск в Корсуне не было, разве что пролетит мимо редкий наш самолёт. Но однажды, проснувшись, я увидел, что вся наша улица забита военными.

В доме напротив, у Усаченко Мины Поликарповича, обосновался штаб всех этих войск. Солдатам и младшим командирам было не велено заходить во дворы и дома и вообще общаться с гражданскими. Но как ты не будешь общаться, если красноармейцы сидят или лежат под самым забором и просят то воды, то ведра, то соломы, а пища из солдатской кухни резко отличается от домашнего борща. В общем, ни приказ командиров, ни забор не стали препятствием для общения. «Нашими» стали те, что находились напротив нашего забора. Бабушка готовила еду не только для нас, но и для них. Тайком они заходили к нам в хату, дедушка выставлял на стол бутылку с самогоном — начинался «пир» и разговоры. Совсем скоро командиры стали делать вид, что ничего этого не видят. Военные шёпотом говорили, что, вероятно, Корсунь скоро займут немцы, а что ожидает их самих — знает, наверное, только Господь Бог.

Неожиданно наших военных постигло несчастье: несколько немецких самолётов сбросили бомбы в конце нашей улицы на усадьбу Карамыша. Были убиты несколько красноармейцев, две лошади, уничтожены несколько походных кухонь. А через некоторое время военные покинули Корсунь. Говорили, что они ушли в сторону Стеблёва. Их дальнейшая судьба мне неизвестна.

Незадолго до прихода немцев, как-то под вечер к нам в хату заявили именитые гости: первый секретарь РК ВКПб, председатель колхоза и агроном «Червоної п'ятирічки». Они имели строгий вид, при наганах и, как выяснилось, пожаловали непосредственно ко мне:

— У тебя на сохранении колхозные лошади?

— Да.

— Они в порядке?

— Конечно.

— Тогда бери сбрую, лошадей и дуй немедленно на колхозный двор. Там запряжешь их в катки и гони на пшеничное поле, что за Можаяевской улицей (Мичурина). Там скажут, что делать.

Я сделал всё так, как приказали. Пшеничное поле 1941-го дозревало щедрым, как никогда, урожаем. Уничтожать его было искренне жаль. Но рассуждать и раздумывать мне не дали. Председатель колхоза торопил:

— Немедленно приступай к каткованию! До утра пшеница должна быть уничтожена!

Катки сделали своё дело. Ещё вечером живое пшеничное поле к утру стало мёртвым.

Последним заметным событием перед приходом немцев было массовое разграбление магазинов и складов. Как-то утром, после сна, я выглянул в окно. По улице оживлённо двигались люди. В сторону центра они шли налегке, а обратно тащились, нагружившись товарами. Моя мама вышла на улицу и поинтересовалась происходящим.

— А ви що — і досі не знаєте? На базарі розбирають крамниці. Начальство і міліція втекли, а люди беруть собі, що хочуть.

Проигнорировав предупреждение бабушки туда не ходить, мы с мамой подались в центр города, хотя бы посмотреть, что там происходит. А центр был, что тот муравейник. Из магазина в магазин сновали люди и хватали всё, что попадёт под руку. Потом, увидев что-либо получше, всё или часть взятого бросали и «отоваривались» чем-то другим. Поэтому полы магазинов и базарная площадь были усеяны товарами, бумагой, коробками, битым стеклом. Посмотрев на всё это, мы с мамой тоже сделали «свой выбор»: мама облюбовала швейную машинку, а я — мечту своего детства, двухламповый радиоприёмник «Колхозник» с антенной.

Дома меня сердито встретил дядя Пётр, родной брат моего отца:

— І де тільки тебе чорти носять? Люди на станції зерно розбирають, а він ящик приніс. Зараз треба негайно запрягати коней і швиденько їхати на станцію!

Я заартачился. Мне не терпелось заняться радиоприёмником. Но дядя был непреклонен:

— Не зволікай! Подумай про те, що будемо їсти. Думаєш, німець нагодує? Ага, тримай кишеню, — в сердцях выговаривал дядя.

— Німці люблять тільки брати та нічого не давати, — почти стихами поддержала дядю бабушка, основываясь, очевидно, на опыте 1918 года. — У нас і справді з харчами кепсько, скоро не буде з чого й коржа спекти, не те що хліба.

И я сдался. Дорога на вокзал, если не считать редких кто на чём бегущих в сторону Гарбузина военных, была пустынна. Правда, над дорогой барражировал, изредка постреливая из пулемёта, маленький немецкий самолётик, из-за чего приходилось ненадолго останавливаться под придорожными осокорами.

На станции у слабо дымившихся и вонявших гарью складов никого не было. Похоже, мы опоздали. Рожь и пшеницу уже разобрали. Обгорелые остатки нам были ни к чему. Дядя был зол, я тоже. Но вот он зашёл в соседний пакгауз и обнаружил там просо, а рядом — кучу новых мешков.

— Будем брать! — решительно распорядился дядя. Просо — не пшеница, но решение дяди, как оказалось впоследствии, было дальновидным. Что бы мы без него делали? Оно на какой-то период помогло нам справляться с голодом, и не только.

Загрузив воз, мы поспешили домой. Попавшийся нам навстречу красноармеец, удиравший на орудийном передке, прокричал:

— Торопитесь домой! Немцы уже возле города!

Но ехать быстрее у нас не получалось — лошади тащить воз с таким грузом могли только шагом.

Разгрузив дома воз и управившись с лошадьми, мы с дядей присоединились к своим домочадцам. А их было немало — аж девять человек в одной комнате. Услышав от нас, что немцы уже под Корсунем, взрослые стали думать, что делать: где-то прятаться или бежать? Но и прятаться оказалось негде, и бежать было некуда. Контингент у нас был неподъёмный: двое стариков, трое детей, однорукий дядя Пётр — далеко ли убежишь?

Об организации эвакуации населения государство не позаботилось. Скорее, наоборот: нас постоянно убаюкивали, что немцев в Корсуне не будет, фронт далеко, не следует поддаваться панике и вражеской пропаганде, всем находиться на рабочих местах, с бросившими самовольно свои предприятия и учреждения будут поступать как с дезертирами по законам военного времени, надо проявлять выдержку и ждать указания свыше. Вот и дождались, что никто не знает, как теперь быть.

Однако некоторая часть населения, не дожидаясь указаний, потихоньку эвакуировалась. В первую очередь это были еврейские семьи, потом — активисты. Некоторые директора учреждений бежали, прихватив всю зарплату своих сотрудников, кто-то эвакуировался под предлогом переезда к родственникам в Россию. Но основная масса населения ждала указаний.

Все городские власти перед приходом немцев убежали тайно, как говорится, «по-английски, не прощаясь».

Наши войска, предназначенные, вероятно, для обороны Корсуня, дислоцировались на окраине города в сторону Стеблёва и Выграева. Их тылы и обеспечение размещались в «Ризаному Яру». Готовясь к обороне, они взорвали стационарную водокачку, подожгли все склады и нефтебазу. При подходе немецких войск нашим пришлось преодолевать Рось вплавь. Очевидцы говорили, жуткое зрелище!

Вечер и ночь мы провели в тревоге. Но и утром немцев в городе ещё не было. Улица была пустынна — люди не покидали своих дворов. Кому-то из наших домашних неожиданно пришла мысль отправиться всем к моей тётке, что жила на Можаяевской. Там и погреб покрепче, каменный, и будем все вместе. Прихватив кое-что из еды и пожитков, через двадцать минут мы были у тёти Фроси.

Первым делом был соответственно оборудован погреб: соломённые маты на полу застелили одеялами. Принесли тёплую одежду, немного еды, ведро с водой, керосиновую лампу, перевязочный материал. Пока немцев не было, взрослые уселись на «призбу» и занялись разговорами. Мы, дети, здесь же, у их ног улеглись на траве. Через дорогу на пшеничном поле стоял комбайн. Оказалось, дядя возле него уже побывал и обнаружил,

что бункер комбайна полностью загружен пшеницей. И вот уже звучит его команда:



*1941 г. Корсунь. У тётки Фроси.*

— Витька, бери мешки и айда к комбайну! Зерно всё равно достанется немцам.

Я нехотя поплёлся с мешком к комбайну. Мы с дядей набрали по полмешка зерна и благополучно сделали первую «ходку». Второй «ходки» сделать не удалось: нас кто-то обстрелял из пулемёта. Впервые в жизни я услышал, как свистят настоящие пролетающие мимо пули. Нам стало не до пшеницы, и мы все мигом спустились в погреб.

Минут через десять дядя Пётр и тётя Фрося вышли из погреба разведать, где немцы. Немцев они не увидели и встали у ворот, рассматривая Красный Хутор, видимый, как на ладони. А ещё через несколько минут послышался взволнованный тётин голос:

— Кажись, німці прийшли! Йй-богу, німці...

Мы с двоюродным братом Борисом немедленно выскочили из погреба:

— Покажіть, де?

Дядя указал на медленно передвигающиеся большие тёмные ящики. Это были немецкие танки.

— Треба йти до погребу, щоб нас не побило, — сказала тётя. И мы опять все спустились в погреб.

Не знаю, сколько б там просидели, если бы не подошла соседка:

— Гей, Мазепи! Вилазьте вже з того погребу — німці прийшли.

Оказывается, немцы были почти рядом, на стыке Можаявской и Вокзальной улиц.

— Вони такі молоді, біляві, гарні, всі в чорному, балакають не по-нашому, і нікого не чіпають. Сама була коло них і все бачила, — продолжала рассказывать соседка.

С трудом вымолив разрешение матерей, мы с Борисом отправились поглядеть на немцев. Всё так и было, как рассказала соседка. За углом Можаявской улицы стояли два танка, а около них хлопотали два немца. На нас они не обратили ни малейшего внимания. Немного на них поглазев, мы помчались на тёткин двор, чтобы поделиться увиденным. Выслушав нас, тётя Фрося вздохнула:

— Все. Тепер ми німецькі...

Отобедав у тёті Фроси, всё наше «невеличке сімейство» возвратилось к себе домой на Сотницкую. Хата была в порядке, возле хаты всё было на месте. Немцев на нашей улице ещё не было. Не было их весь день и всю ночь. Спать долго не ложились — были озабочены предстоящей встречей с немцами и дальнейшей нашей судьбой...

\* \* \*

Пока я рассказывал следователю о своей довоенной жизни, он вёл себя спокойно, слушал не перебивая, похоже, со всем, что я рассказывал, соглашался. Но как только я заговорил о периоде немецкой оккупации, его словно подменили. Он постоянно меня перебивал, донимая вопросами, и мне не верил. Ему хотелось, чтоб я при немцах был если не старостой или полицаем, то хотя бы их рьяным пособником. По его мнению, я должен был быть или «кем-нибудь», или над «кем-нибудь».

Мой пятнадцатилетний возраст и отсутствие у меня какой-либо профессии его не смущали. Мои возражения его бесили. Следователь зверел на глазах. В ход пошли оскорбления, матюки, угрозы. Всё это на допросах становилось нормой. До мордобития не дошло, хотя замашки были. Для меня настали «чёрные дни» — допросы стали ночными. После отбоя, как только начну засыпать, за мной приходят. В четыре или в пять утра — уводят в камеру. А в шесть — подъём. Целый день спать или лежать не разрешается. За этим следили надзиратели. Бывало, сидя уснёшь — а надзиратель в «кормушку»:

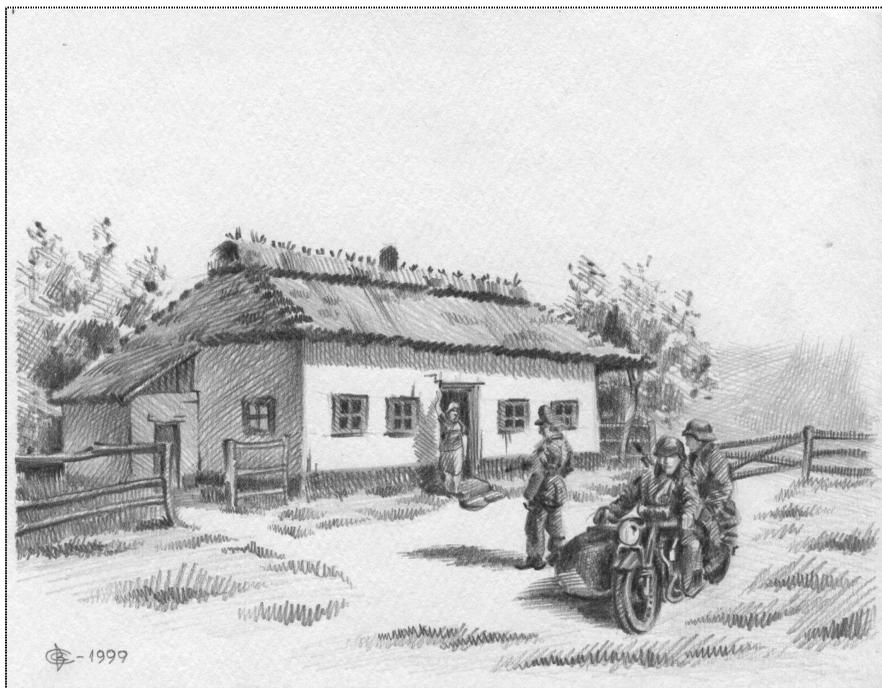
— Сиренко, не спать! Отправлю в карцер!

А следователь многим интересовался. Например, почему я не эвакуировался, почему не ушёл вместе с отступающими нашими войсками или в партизаны, не стал героем-подпольщиком. Наконец, почему не застрелился или не повесился, как настоящий советский патриот, преданный советской власти? В конце концов, почему меня не повесили или не расстреляли сами немцы? Ведь других же и вешали, и расстреливали...

Ни один из моих ответов на все «почему» Акимова не устраивал. «Я выведу тебя на чистую воду», — грозился следователь. Но не вышло. Ни запросы, ни опросы не помогли. Свою жизнь при оккупантах я прожил не по-акимовски. И было это так...

## 7. В немецкой оккупации

На следующий день, примерно в 9 или 10 утра, у наших ворот остановился громко тарахтевший мотоцикл с коляской. Это были немцы. Они открыли ворота и въехали во двор. Двое из них — офицер и переводчик — зашли в хату. Переводчик на чистейшем украинском языке поздоровался и сказал, что он и его товарищи, которые скоро подъедут, будут у нас на постое. Им нужны места для ночлега, вода для питья и умывания, возможность приготовить себе еду. Мы не должны их бояться, они ничего нам плохого не сделают, но предупреждают, чтобы с нашей стороны не было непродуманных поступков, так как это нам дорого обойдётся.



*1949 г. Корсунь. Первые постояльцы-оккупанты.*

Немцы вышли, оставив моих домашних в недоумении. Воды, хоть и тяжело, ещё можно наносить. А как быть с размещением на ночлег? В одной комнате мы вдесятером едва помещаемся — куда же девать ещё и немцев? Неужто придётся ночевать в огороде?

Однако проблема с ночлегом разрешилась сама собой: немцы заявили, что будут спать во дворе на соломе, благо её у нас было предостаточно, а ночи были тёплыми.

Вот с этого момента, я считаю, началось моё пребывание на оккупированной территории.

Я представлял себе занятие Корсуня немцами совсем иначе. В книгах и кинофильмах рассказывалось, что занятие города сопровождается яростными атаками одних и ожесточённым сопротивлением других. При этом обе стороны должны стрелять и кричать «Ура!» В действительности вышло всё не так: наши тихонько ушли, а немцы заняли мой город как бы нехотя, словно раздумывая, брать Корсунь или не брать. К тому же

вдобавок наши понесли немалые потери при отступлении, форсируя Рось вплавь.

За домашними хлопотами подошло время обеда. Немцы, умывшись и отдохнув с дороги, дружной оравой вошли в хату и немало озадачили бабушку, побросав оружие у порога, где возле печи стояли ухваты и кочерги. Переводчик сказал:

— Матка, ми будемо обідати.

Бабушка, указав на стол, ответила:

— Сідайте, — и предложила им борща.

— О, гут! — от борща немцы не отказались.

Дедушка к борщу добавил самогон.

— О, шнапс аух гут! — довольно заулыбались немцы.

Переводчик, переговорив со своими, предложил:

— Може й ви приєднаєтесь до нашого гурту?

К столу подсели все взрослые. Мы, дети, наблюдали за происходящим с лежанки.

Хмель быстро развязал языки. Немцы нахваливали бабушкин борщ, удивлялись убогости нашего быта:

— Мы думали, большевики уже построили для вас рай земной, а вы так бедствуете!

Сейчас я понимаю, что выглядели мы в глазах немцев не лучшим образом: глиняная хата-мазанка, соломенная крыша, земляной пол, малюсенькие одинарные окна, примитивная самодельная деревянная некрашенная мебель (стол, «мыснык», лавки, вместо кровати — топчан, скрыня, «шаплык»). Посуда почти вся глиняная. Кружка для воды — из снарядной гильзы времён 1918 года. Особый восторг вызывали дверная щеколда и сортир из двух досок над ямой, огороженный подсолнухами. За водой надо было ходить за полкилометра. Тогда насмешки немцев пробуждали во мне гневный протест — я считал, что по сравнению с другими соседями мы живём довольно прилично.

На вопрос дедушки, как живут они в Германии, переводчик ответил, что не будет рассказывать, так как мы всё равно не поймём.

Дедушка, осмелев, ударился в политику:

— Ось ви завоюєте СРСР — і що далі?

— Далі підемо на Індію.

— А як же Америка — не боїтесь?

— Ні. Ми всім ради дамо.

Отобедав и поблагодарив, захмелевшие немцы вышли из хаты.

А в это время в центре Корсуня в буквальном смысле летели перья — наши горожане грабили дома и квартиры, оставленные эвакуированными еврейскими семьями. Земля вокруг была усеяна битым стеклом, тряпьём, старой утварью, перьями из перин и подушек.

«Наши» немцы пробыли у нас на постое около недели. Они, как и обещали, ничего плохого нам не сделали: никого не обидели, ничего не взяли, никого не насильовали. Вели себя скромно, вежливо и культурно. Не повезло только мне: один из немцев нашёл мой значок «Готов к санитарной обороне». Что тут началось! Меня объявили большевиком и членом организации типа немецкого Гитлерюнга. Хорошо, что меня в тот момент не было дома. Не знаю, чем бы всё закончилось, попадись я под горячую руку. Спасибо дяде Петру — сумел успокоить рассвирепевшего немца, убедив, что такие значки выдавали всем школьникам. И это было почти правдой: значки эти мы получили всем классом, сдав соответствующие нормы.

Трогательно с нами распрощавшись, наши постояльцы уехали, а новых, слава Богу, не было. То ли наша хата выглядела неказисто, то ли не было нужды в постое.

А немцы двигались на Восток непрерывным потоком. Глядя на это воинство и невиданную технику, люди только качали головами: «Куда нашим браться!»

После передовых частей пришли немцы, специально занимавшиеся наведением порядка. Эти были покруче. На стенах домов и на заборах запестрели объявления и приказы. В каждом из них угрозы: будут расстреляны, повешены, отправлены в концлагерь, будет сожжена усадьба... Одним словом, устанавливался «Нойес орднунг».

По приказу немецкой комендатуры велено было немедленно отнести в городскую управу оружие и радиоприёмники. Так что с «Колхозником» пришлось расстаться. Я его закопал где-то в огороде, да так, что он и до сих пор там находится. Всем

жителям от 14 лет и старше предлагалось зарегистрироваться на Бирже труда.

Затем в Корсунь немцы привезли попа. Городской молебен организовали на развалинах большой каменной церкви. Она была разрушена незадолго до войны с намерением из разобранных материалов построить школу №1. Но церковные стены оказались настолько прочными, что разобрать их на кирпичи не удалось. Церкви не стало, но и со строительством школы ничего не вышло.

На молебен собралась уйма народа. Я тоже там присутствовал из любопытства, наивно полагая, что молящихся и бьющих поклоны давно извели. Но, к моему удивлению, их оказалось предостаточно. После молебна и проповеди поп предал анафеме «красного антихриста» в лице большевиков, навсегда изгнанных из стен древнего Корсуня доблестной и непобедимой немецкой армией.

Очень скоро немцы создали местное самоуправление. Первым старостой (бургомистром) был назначен неприметный до войны человек, Коркишко — продавец небольшого магазинчика, ютившегося возле самого Мартанского пруда, напротив кузницы и усадьбы Петра Терлыгы. Все удивлялись: «Нашли старосту!» Но Коркишко в старостах проходил недолго. Я так и не знаю, куда он потом исчез.

Начальником полиции стал молодой Гудзенко с Саморянской улицы. Он перед самым приходом немцев вернулся с Западной Украины. Чем он там занимался — не могу сказать. Одни говорили, что работал учителем, другие — что был на комсомольской работе. Каждый день он по несколько раз проезжал мимо наших окон на велосипеде. Через несколько месяцев его расстреляли немцы. За что — не знаю.

Потом на колхозном подворье «Червоної п'ятирічки» собрали колхозников. Немецкий офицер через переводчика объявил, что «с завтрашнего дня всем колхозникам надлежит немедленно приступить к работе в колхозе. Растащенных по дворам животных и инвентарь — вернуть на подворье. Саботажники будут наказаны по военным законам. Колхозы пока что будут сохранены».

После этого офицер зачитал, какие виды налогов и в каких размерах придётся выплачивать. Присутствовавшие отреагировали на это приглушенным ропотом. Налоги показались непомерными даже по сравнению с теми, что были при «советах». Удручённые колхозники разошлись по домам, но выходить на работу на следующий день они не спешили.

На семейном совете мы тоже решили выход в колхоз проигнорировать: я не был членом колхоза по малолетству, а бабушка и дедушка решили, что работа в колхозе им больше не по возрасту. Мать велела мне отвести и сдать лошадей со всем колхозным инвентарём, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Но не удалось — пока что за животными некому было ухаживать, а инвентарь — некому караулить. Мне велели временно содержать всё это дома. А дома содержать лошадей было уже невозможно. Они требовали внимания и кормов. Я старался, как мог. Каждый день приходилось где-то что-то косить. Но и другие занимались тем же. Вскоре на полях не осталось ничего. Я был в отчаянии и не знал, как избавиться от лошадей. Помог случай. Однажды мой бригадир упросил меня за чем-то съездить в Городище. На обратном пути немцы обменяли своих, выбившихся из сил, кляч с немыслимым тарантасом на железных колёсах на моих лошадей и воз. Со слезами на глазах я еле добрался домой и заявил: пусть делают со мной, что хотят, но эти клячи мне не нужны. Выручил дядя Пётр. Он куда-то отвёл одну клячу, а вторую и тарантас объявил своей собственностью, тем самым избавив меня от колхозного имущества.

Не заставили себя ждать аресты и расправы. Кое-кто поспешил засвидетельствовать свою преданность новым властям, строча доносы на бывших активистов, кому-то захотелось, пользуясь случаем, отомстить за обиды. Колесо смерти закрутилось. Жить стало страшновато. Вопрос «Что с нами будет?» нависал, как Дамоклов меч. А бабушка успокаивала:

— Ось побачите, німця тут не буде. Не знаю, як і коли, але не буде. Бо в святому писанії сказано, що «встане маленька держава на Сході і нас завоює». А німець — ні.

Бабушка была абсолютно неграмотна, никогда ничего не читала, но где-то об этом слышала. Дедушка, знавший толк в

церковных книгах, бабушкины слова подтвердил. Тогда было трудно в такое поверить, но в душах затеплилась надежда, что немецкая оккупация — явление временное.

В августе 1941 корсунчане считали, что наши уже где-то далеко за Днпром. А оказалось, что они совсем рядом — в Киченском лесу, на самой его опушке, прямо за полотном железной дороги, всего в пяти километрах от города. Какое-то время они сидели тихо, вероятно собирались с силами, а в августе стали постреливать из орудий и даже предприняли атаку на Корсунь. В связи с этим населению пришлось пережить много неприятных моментов. Во-первых, интенсивный артобстрел парализовал жизнь города и нанёс ущерб и без того бедствующему люду. Во-вторых, всё мужское население было согнано немцами во двор литейного завода с целью уничтожения, если «русские» победят. О чём ни я, ни дядя Пётр, ни его сын Борис, находясь там, даже не подозревали. В-третьих, неожиданные бои на всех нас просто нагнали страху.

Бои за Корсунь закончились поражением «наших». Им удалось ненадолго захватить окраину города в районе Саморянки и Саморидненской улицы. Но дальше они не продвинулись и отступили, побросав убитых и раненых на огородах.

Ожесточённые бои происходили в районе Гарбузина при попытке овладеть железнодорожной станцией, но и тут безуспешно для «наших». В результате было полностью разрушено здание вокзала и сожжён дотла двухэтажный жилой дом, стоявший напротив. После этого «наши» отступили, и теперь уже надолго.

С наступлением осени истощились наши общие продовольственные запасы. Между вчера ещё дружными домочадцами начались перебранки. Чтобы не слышать обвинений, мы с матерью перебрались из дедовой хаты в центр города в маленький пустующий домик. Кроме моей доли проса у нас с ней действительно ничего из продуктов не было, даже картошки. Без продуктов и работы мы начали голодать. Всё, что в доме было «лишнего» — пошло на обмен. В том числе и швейная машинка. Кормились просом. Я толлок его в специальной ступе

на пшено, а мама обменивала его на базаре на что-либо съестное.

Ближе к октябрю 1941 года школа №2 собрала всех своих учеников. Перед нами выступил наш учитель математики и физики Александр Змиевский. От имени немецкой комендатуры он заверил нас, что занятия в школе скоро возобновятся. Сейчас решается вопрос только об учебниках. Едва он будет решён — мы тотчас приступим к занятиям, о чём всем сообщат дополнительно. Однако школа так и не открылась.

В конце октября маме повезло с работой. Она устроилась уборщицей в частную парикмахерскую. Ей платили и деньгами, и продуктами — в зависимости от того, чем расплачивались клиенты. Заработок был мизерный, но всё же это было хоть что-то. Мне с трудоустройством не фартило: и по возрасту не подходил, и делать ничего не умел, кроме как управлять лошадьми. На поденную тяжёлую физическую работу приглашали мужчин покрепче и знающих дело.

В ноябре начались морозы, выпал снег. В доме не было топлива. Нас с мамой донимал не только голод, но и холод. И тут подвернулся случай.

Как-то раз прибегает ко мне Володька Сохацких:

— Витька, есть дело. Айда в лес пилить деревья! Я уже записался в лесничестве.

Условия работы показались мне приемлемыми: сваленное дерево требовалось очистить от сучьев, отпилить деловую древесину — остальное распилить на дрова; каждый третий складометр дров был наш, все мелкие сучья и ветки — тоже. Дрова были нам как нельзя кстати. И я согласился.

Работа в лесу оказалась для подростков и тяжёлой, и опасной. К тому же мы пользовались никудышными инструментами, не приспособленными для такого дела. Всё выполнялось вручную. Разрешалось валить сухостой и раненые снарядами деревья. Лесозаготовительный участок нам выделили в Киченском лесу, на месте августовских боёв, прямо в районе бывшей дислокации наших войск. Прежде чем приступить к работе, мы облазили все окопы и блиндажи. Там было полно самого различного оружия и боеприпасов. В земле таились неразорвав-

шиеся снаряды и мины. Только значительно позже мы поняли, в каком опасном для жизни месте находились.

На морозе, по колени в снегу, плохо одетые и полуголодные мы продержались в лесу ровно столько, пока не заготовили для себя достаточно дров на зиму. И как только развезли их по домам — сразу же рассчитались, получив за работу ещё и жалкие гроши.

Я снова стал безработным. На беду, именно в это время началась кампания по вербовке на работу в Германию. На стенах домов и заборах появились красочные плакаты, призывающие молодёжь ехать «...в прекрасную Германию». Плакаты обещали работу по специальности, гарантировали приличный заработок, жильё, спецодежду, приобретение профессии теми, кто её не имел. С плакатов глядели сияющие от удовольствия лица, призывающие последовать их примеру, так как они уже живут и работают в Германии, всем довольны и приобщаются к европейской культуре.

Трудно сказать, сколько клюнуло на эти призывы. Полагаю — не много, так как от агитации ехать добровольно в декабре 1941 года немцы перешли к принудительным повесткам. В первую очередь их рассылали всем безработным. Даже тем, кто не был зарегистрирован на Бирже труда. Я не помню, чтоб регистрировался, но повестку в декабре получил.

Биржа труда располагалась там, где сейчас музыкальная школа. Меня спросили:

— Ты где-нибудь работаешь?

— Нет, — ответил я. — Но работу ищу.

— Не надо её искать. Как безработному, мы предлагаем тебе добровольно отправиться в Германию. Там будет всё.

— Не знаю, — замялся я. — Надо посоветоваться с родителями.

— Конечно! На это мы даём тебе три дня. Тем, кто едет добровольно — привилегии.

— А тем, кто нет?

— Зачем тебе это знать! Думаем, ты примешь правильное решение. Через три дня, к 10<sup>00</sup>, чтоб обязательно был.

На семейном совете — ехать или не ехать — единого мнения не было. Мама была одновременно и «за», и «против». С одной стороны — содержать меня у неё не было сил. С другой — отпускать от себя не хотела: вдруг там будет плохо? Дедушка ничего не посоветовал: «І тут погано, і там невідомо як буде. Вирішуй сам...» Дядя Пётр, имевший опыт вербовки людей на Дальний Восток, в Среднюю Азию, на Кавказ на «стройки коммунизма», отделался поговоркой: «Завербовался — проданся. А ты — думай». Решительно против была бабушка: «І чоґо це бідна дитина поїде на чужину поневірятися? Нехай сидить вдома. Як буде — так і буде». Я же не мог самостоятельно принять никакого твёрдого решения. Я был на распутье.

Три дня пролетели быстро. Пора было идти на биржу с окончательным ответом. Но там уже всё решили без меня. На стене висел список добровольно отправляющихся на работу в Германию. В этом списке был и я. Возмущённые липовые «добровольцы» начали бузить, требовать начальство: почему, не спросив, их отправляют в Германию, да ещё якобы добровольно? Начальство объяснило, что нам просто повезло. Следующий набор будет отправлен в Германию принудительно и под конвоем. По этому поводу вчера получен соответствующий циркуляр. А мы поедем в Германию как свободные люди, с комфортом.

Большинство решило, что раз такое дело, то лучше поехать сейчас, чем потом под конвоем. Мне осталось только присоединиться к этому большинству. В результате все без исключения, кто был в списке, поехали. Отправка состоялась на следующий день в 10 утра. Сбор был назначен у Биржи.

Погрузив в телегу свои вещи, на вокзал мы двинулись пешком, в сопровождении родных и близких. Меня провожала мама. Володю Сохацкого — никто.

У пакгауза одиноко стоял большой товарный вагон-«пульман». Он предназначался для нас Мы-то собрались ехать «как люди» в тёплом пассажирском вагоне, а здесь — товарняк! «Добровольцы» постарше начали роптать. Наша негласная охрана из нескольких немцев и полицаев поспешила загнать нас в вагон, не дав как следует попрощаться с родными. Как

только все вошли, вагонная дверь захлопнулась на замок. Что тут началось! «Добровольцы» затопали, застучали и закричали: «Нас обманули! Обещали одно — получилось совсем другое!» В окно мы видели, как возмущались наши родственники. Но тут подкатила дрезина и присоединила наш вагон к только что подошедшему товарному поезду. Через несколько минут мы уже ехали в сторону Киева.

Привилегии, как для добровольцев, выглядели странно: неотапливаемый товарный вагон, где не на чем было даже сидеть, без воды и туалета. Только в Мироновке нас под конвоем сводили справить нужду, предупредив, чтобы не вздумали бежать, а то будут стрелять. Мы возмущались всю дорогу до самого Киева.

В Киев прибыли поздно вечером. Продрогших и злых нас завели в здание вокзала. Стеклопанельная крыша вестибюля зияла дырами. Сквозь них валил снег. Зал ожидания, где сейчас размещены буфеты и клозет, не отапливался. Посреди зала стояла сбитая из фанеры небольшая будочка. В ней топилась железная бочка. Дым по жестяной трубе выходил из окна зала в сторону, где сейчас расположена стоянка такси.

Немецкий офицер извинился за временные неудобства и объявил, что до утра нам придётся пробыть в этом зале. Греться можно по очереди в будочке, а покидать зал и высовываться из окон не следует — часовой может застрелить. Сейчас время позднее, комендантский час — на глаза патрулям в эту пору лучше не попадаться. Нам надо набраться терпения, а утром всё уладится.

Немец с переводчиком удалились, а мы стали коротать ночь. В зале холодно, как на улице, а в будочке тесно. Кроме дымящей печки, там ещё и накурено. Мне, некурящему, усидеть там долго было не в состоянии. Почти всю ночь я провёл в зале, без сна.

А в будочке, отогреваясь, наша взрослая братия поначалу травила анекдоты. Когда отогрелись — вспомнили, что спать негде, воды нет, туалета тоже, и закипели страсти: «Ну и влипши! Ничего себе, привилегии! Такого наглого обмана не было даже при советской власти! Да что эти немцы себе

позволяют? С нами обращаются как с преступниками! Завтра мы заявим кому следует и в Германию не поедем!» Всю ночь на немцев и на их порядки сыпались проклятья.

Наступило «завтра». В 11 часов утра пришли офицер с переводчиком. Они объявили, что пока сформируется эшелон на Германию, нам придётся задержаться на несколько дней в Киеве и временно поработать на очень важном строительном объекте. А сейчас нас отвезут в место, где мы сможем привести себя в порядок и отдохнуть. Там же нас и накормят.

К вокзалу подкатил трамвай-платформа, мы погрузились и поехали. Остановились на Почтовой площади. Оттуда нас пешком отконвоировали вдоль набережной к двухэтажному дому напротив Лавры. Сейчас это рядом со станцией метро «Дніпро».

Дом оказался огороженным колючей проволокой. На проходной — часовой. Окна — зарешечены. Нас разместили в двух вместительных комнатах на втором этаже. В комнатах — двухъярусные деревянные нары без матрацев, подушек и одеял. Возле одной из стен — деревянный стол. Рядом с ним — две деревянные лавки. В углу около дверей — бачок с водой, к бачку на цепочке прикреплена железная кружка. Отопление центральное, есть туалет и умывальник. Но кормить нас до вечера никто не собирался.

Каждый облюбовал себе место на нарах. Мы — трое подростков: я, Володя Сахацкий и Павлик из с. Карашина — расположились рядом, положив у изголовья свои «торбы».

Уже никто не сомневался, что мы серьёзно-таки влипли. Обещанные «привилегии» говорили сами за себя без лишней пропаганды. В такой заперти я никогда ещё не был — тюрьма, да и только. Вечером, когда с работы пришли здешние «старички», попавшие сюда таким же обманом или в результате облав, мы узнали наверняка, куда попали. Ни в какую Германию нас не повезут. Будем работать на восстановлении моста через Днепр (сейчас это мост Патона), точнее, на лесопилке, где трудятся и они.

«Старички» рассказали, что из этого дома никуда не выпускают. Водят на работу под усиленным конвоем с собаками.

Писать на волю не разрешают, больных не лечат, умерших хоронят неизвестно где, денег не платят, спецодежду не выдают, на работе бьют, кормят отвратительно, в баню не водят, по ночам заедают клопы. Бежать отсюда удаётся немногим. Пойманных после побега отправляют неизвестно куда, возможно — в концлагерь. И посоветовали: «Пока не отощали и не оборвались как мы — постарайтесь удрать».

Всё это выслушав и отведав кормёжки, наши корсунские «добровольцы» были единодушны — надо бежать. Но как? Один из наших, молодой мужчина лет 25-27 заявил: «Завтра я сбегу. Эта обитель не для меня». Как и многие, я посчитал его слова обыкновенной эмоциональной бравадой. Но слово своё он сдержал.

На следующий день ни свет ни заря нас подняли и повели на работу. Вчерашний «хвастун» шёл впереди меня в середине колонны. Вдруг на повороте он переметнулся на край, вышел из колонны и, развернувшись на 180 градусов, зашагал в обратную сторону, благополучно миновав ничего не подозревавших конвоиров. Это было исполнено так смело, изящно и просто, что я долго находился под впечатлением увиденного. Мне тоже захотелось бежать, и немедленно.

По льду мы переправились на левый берег Днепра. Прямо на берегу, за высокой деревянной оградой и колючей проволокой, размещалась лесопилка. Вокруг пилорезки ютилось несколько неказистых деревянных построек, и возвышались штабеля круглого леса, досок, пиломатериалов. Меня, Володю и Павлика приставили к пилорезке относить и укладывать в штабеля обаполы.

К вечеру мы так натягались с обаполами, что едва переставляли ноги. Похлебав вонючей капустной баланды, устало растянулись на нарах. Но выспаться как следует мешали клопы. Утром — опять подъём, баланда, конвой, пилорезка...

Втроём мы окончательно договорились о побеге, и каждый поклялся думать над планом его осуществления. Собираясь вместе, каждый выкладывал свои соображения, но их тут же отбрасывали — всё это было нереально.

На третий день нашего заточения Павлик сказал: «Есть идея!» Её подбросил пожилой дворник, работавший на лесопилке по найму. Мы видели его каждый день с метлой или лопатой. Он предложил бежать прямо с лесопилки среди бела дня, желательно утром, чтобы к вечеру мы могли добраться до Обухова. Мимо часового, что на проходной, часто снуют взад-вперёд бесконвойные вольнонаёмные. Пока мы ещё выгладим «прилично» и наши лица, как заключённых, не примелькались, можно сойти за них и по одному выйти за проходную. При выходе часовые, как правило, пропусков не требуют. Но идти мимо часового надо гордо и смело, чтобы он в нас не заподозрил заключённых. Покинув лесопилку, нам следовало перебраться на правый берег и выйти на обуховскую дорогу, которая была неподалёку.

Этот план мы не стали откладывать в долгий ящик и совершили побег на следующий же день. К тому же подвернулся счастливый случай: утром испортилась пилорама. Пока её будут ремонтировать, мы окажемся как бы не у дел, и какое-то время нас не будут искать. Этим мы и воспользовались.

Первым по нашему уговору должен был идти Павлик, за ним — Володька, а следом и я. Укрывшись за штабелями досок, мы с Володей наблюдали, как Павлик направился к проходной и с высоко поднятой головой проследовал мимо часового. Тот на него даже не глянул. Миновав шлагбаум, через несколько минут Павлик достиг середины Днепра. Настала Володина очередь. Ему тоже повезло. Увидев, как он уже шагает по льду, и испугавшись, что останусь на лесопилке один без них — нервы мои не выдержали, я больше не стал ждать, вышел из-за штабеля и направился к проходной. Сердце бешено колотилось, от страха спирало дыхание, но я прошёл мимо часового так же удачно, как и они. Выбравшись на лёд, я заторопился и догнал Володю. Мы зашагали рядом. Теперь только б не было погони!

Миновав середину Днепра, мы увидели, что навстречу нам на лёд ступил человек в полушубке и в фуражке с высокой тульёй — определённо, немецкий офицер. Что делать? Решили идти прямо на него. Поравнялись. Офицер оказался началь-

ником нашего лагеря и лесопилки. От такой встречи я чуть не обомлел. Но, мельком взглянув на нас, он проследовал дальше, а мы ускорили шаг.



*1941 г. Киев. Беглецы.*

Не оглядываясь, выбрались на берег и, свернув на обуховскую дорогу, вскоре догнали поджидавшего нас Павлика. Первый этап побега удался. Теперь — поскорее бы выбраться из Киева, избежать погони, если таковая будет, и не нарваться на немецкий патруль.

Двигались почти бегом. Только миновав Корчеватое, осмелились ненадолго остановиться, чтобы перевести дух. Настоящий же первый привал минут на пятнадцать решили сделать в попавшемся на пути ДОТе. Он находился на изгибе дороги, сейчас там стоит «Олимпийский Мишка». Но там мы не задержались, наткнувшись в ДОТе на трупы его защитников: двое лежали на полу, а третий так и остался сидеть за пулемётом. Выбравшись из ДОТа, мы зашагали прочь.

В скором времени набрали на кучи листовок, валявшихся на дороге. Прочитали. Это были советские листовки, сообщав-

шие о крупной победе Красной Армии под Москвой. Было написано, что «наши» не только отстояли Москву, но и отбросили немцев на сотни километров на запад, освободив множество населённых пунктов и захватив многочисленные трофеи и пленных. Верилось в это, честно говоря, не очень, но было приятно, что немцам задали жару. Нам от этого даже легче стало идти. И уже вечером, преодолев 40 км, мы были в Обухове.

Голодные и усталые, искали ночлег. Никто не давал нам поесть и не впускал в хату даже погреться. Один из прохожих, посочувствовав нам, посоветовал:

— Вы обратитесь вон в ту хату на горбочке. Если там не помогут, то никто ничего вам не даст и на ночь не пустит.

Возле «хаты на горбочке» суетилась хозяйка.

— Ой, не знаю, що вам і казати. Треба спитати чоловіка, а його нема вдома. Хіба що зайдіть погрійтеся. Чоловік має скоро прийти.

В хате было, как везде: печь, лежанка, деревянный топчан, скрыня, «мысник», стол с лавками, «шаплык» с помоями, рога-чи и кочерга возле «припичка», на стенах — многочисленные фотографии и образа. Пол глиняный, устланный соломой.

От тепла и уюта мы разомлели, и вновь оказаться снаружи на морозе нам ну никак не хотелось. А вот и хозяин. Высокий, худощавый, лет сорока пяти, с приятными чертами лица. Поздоровался:

— Люди вже переказали, що в мене в хаті гості. Хто ви і звідкіля?

Мы ему наврали, что были в Киеве в гостях у родственников, узнавали насчёт обмена продуктов на вещи. А сейчас, мол, возвращаемся домой в Корсунь, ищем ночлег. Нашему вранью хозяин не очень поверил:

— Бачу, у яких родичів ви побували. Таких тут багато ходять. Але якщо не хочете казати правди, то й не кажіть — я не дорікатиму. А на ніч — пуцу, і жінка вас нагодує.

Мы повеселели. Пока хозяйка хлопотала у печи, хозяин расспрашивал нас о родителях, о Корсуне, что видели в Киеве. Мы рассказывали. О Киеве сочиняли на ходу, кто как мог.

Остальное была сушая правда. Когда сели за накрытый хозяйской стол, хозяин неожиданно сказал:

— Ну, тепер давайте знайомитесь ближче. Я — староста Обухова.

От этих слов наши лица перекошил испуг: «Неужели влипли?» Оценив нашу реакцию, староста успокоил:

— Та не бійтеся. Я вашого брата виручав і вас виручу. Ви хоч дорогу знаєте?

Дороги мы не знали. Знали только, что нам надо добраться до Кагарлыка и Мироновки, а как — неизвестно. Староста подробно рассказал, куда и как нам идти. Предупредил, что в Григоровке нам надо быть осторожными — там работающий сахарный завод, и можно нарваться на полицейский или немецкий патруль.

На столе пахло свежим кандёром, зажаренным салом с луком. К кандёру мы получили по большому куску хлеба, по луковице и по чарке самогона. Когда нас разморило и мы начали клевать носом, староста велел стелиться на ночь. Он принёс в хату ещё пару охватов соломы. На соломе, застеленной ряднами, укрывшись кожухами и кереями, мы улеглись покотом и крепко уснули.

Чуть свет мы уже были на ногах, разбудил хозяин. Хозяйка накормила нас вчерашним кандёром, дала на дорогу по куску хлеба, а хозяин проводил до дороги, показав, как выйти на Кагарлык. Пожелав нам счастливого пути, староста вернулся в дом, а мы бодро зашагали в сторону Григоровки, добрым словом поминая старосту за проявленную к нам человечность: за ночлег, за харчи, за доброе слово. Староста оказался мужественным человеком и настоящим патриотом своего народа.

До Григоровки мы добрались сравнительно быстро и благополучно избежав встречи с немцами и полицияями. В этом селе постарались долго не задерживаться. А до Кагарлыка идти было тяжело. Дорога — две узкие санные колеи. В колеях — глубокие следы от лошадиных копыт. Ещё мешал сильный встречный ветер с позёмкой. Мы быстро выбились из сил, и не знаю, как бы добрались до Кагарлыка, если бы нас не нагнали

сани. Возница без лишних уговоров разрешил забраться на сани и довёз до самого Кагарлыка.

В Кагарлыке, как и в Обухове, сколько мы не ходили под хатами — ни еды, ни ночлега. Ответ один: «Таких, как вы, здесь толпы. Самим есть нечего, и ваших вшей нам не надо». Отчаявшись, уже ни на что не надеясь, мы побрели к очень убогой хатёнке, стоявшей немного на отшибе от главных улиц. В хате проживали старик со старухой. Мы попросились передохнуть и обогреться. Нас впустили. На расспросы отвечали, как в Обухове, не сказав, что мы беглецы.

Бабка со вздохом спросила:

— Може ви їсти хочете? Але в нас тільки пісний борщ без хліба.

«Їсти» мы хотели очень. И с радостью съели по большой глиняной миске борща. Поев и поблагодарив хозяев, мы сказали, что уже поздно и нам ещё надо искать ночлег. На что старик ответил:

— Куди ви проти ночі підете? Може, у нас і переночуєте?

Уговаривать нас не пришлось. Мы были рады удаче.

Все трое спали на печи. За ночь и обогрелись, и отдохнули. Утром бабка нас угостила только что сваренной картошкой. Поблагодарив радушных хозяев, мы отправились в Мироновку.

К полудню добрались до Зеленьок — очень длинного села из одной улицы протяжённостью 12 км. Здесь мы подзадержались, попрошайничая под хатами. Но никто нам не дал даже картофелины. Зря потеряли время и добрались до Мироновки только вечером, когда уже изрядно стемнело. Где теперь искать ночлег и еду? Но Павлик нас успокоил: у него в Мироновке живёт родной дядя — он всё устроит. Только надо сначала побывать на вокзале — он работает смазчиком, и, возможно, сегодня на дежурстве.

К счастью дядя оказался на смене. Мы всё ему рассказали, и он посоветовал в Мироновке не задерживаться, а уехать в Корсунь сегодня же ближайшим поездом. Минут через двадцать туда пойдёт товарняк. Мы с радостью согласились. На поезде до Корсуны — час пути.

Пока мы доедали дядин «тормозок» с ужином, пока искали подходящую тормозную площадку — подоспело время отправления. Поблагодарив и попрощавшись, мы забралась в вагон, поезд тронулся, постепенно набирая скорость. Нашу радость умалял адский холод, возникший во время движения. Казалось, что мы ещё задолго до Корсуня превратимся в ледышки. Особенно туго пришлось на перегоне Сотники — Корсунь, где поезда идут под уклон, развивая большую скорость.

Но вот и Корсунь. Как следует осмотревшись, чтобы не попасться патрулям, мы выбрались за пределы станции на Вокзальную улицу. Здесь наши пути разошлись. Нам с Володей надо было идти в сторону города, а Павлику — в Карашину, в противоположную сторону. Попрощавшись и поклявшись в вечной дружбе, мы разошлись. На окраине города Володя свернул на Можаяевскую, а я пошагал в центр. Счастливо избежав встреч с патрульными, радостный и взволнованный я вскоре стоял у порога своего дома. Тихий стук в окно, голос матери: «Кто там?» — и вот у раскрытой двери удивлённая мать:

— Сынок?! — Объятия, слёзы радости...

Так для меня закончилась первая поездка на работу в «Прекрасную Германию».

После возвращения из «Германии» в течение месяца я не выходил из дома — боялся, как бы не вернули обратно на Дарницкий мост. Да и становиться на учёт на Бирже труда не было резона. К тому же боялся без документов угодить в облаву и опять куда-нибудь загреметь. Но жить «в подполье» у меня не вышло. Весь Корсунь давно знал, что «Меланчин Витька повернувся з Німеччини і ховається вдома», а я всё ещё продолжал прятаться. Пришлось «выходить на люди» и вновь искать работу.

Только в феврале 1942 года мне удалось устроиться черно-рабочим на Почапинский сахарный завод. Работу подыскал мне Володин дядя Николай Сахацкий. Он тоже отправлялся в Почапинцы.

На санях нас было четверо. К вечеру успели добраться до села Комаровки. Там и заночевали. А утром были в Почапинцах.

Нашу четвёрку поселили в маленькой будочке на угольном складе. Мы должны были круглосуточно обеспечивать заводскую котельную топливом: загружали лопатами уголь на платформу узкоколейки, толкали её до котельной, там разгружали и возвращались обратно на угольный склад. Главное, чтобы уголь в котельной не убывал. Поэтому, натаскав в котельную достаточно угля, можно было и поспать, и прогуляться.

Работа была тяжёлой и беспокойной, но сезонной. В марте завод должен был остановиться. Я надеялся не столько заработать, сколько запастись сахаром. Однако не вышло ни того, ни другого. Добраться до сахара не было возможности — он зорко охранялся от таких, как я. «Свои» же, почапинские, крали его почём зря на глазах у охранников. Можно было сколько угодно набрать «мелясы», но это — далеко не сахар. А заработанные деньги при расчёте почти все ушли на погашение долга за питание. Кормились мы в заводской столовой. Меню там было жуткое, но радовались и этому.

На заводе работали и советские военнопленные. Они почти не охранялись, и после рабочего дня ездили по узкоколейке или ходили пешком в окрестные сёла подзарабатывать, помогая по хозяйству местным вдовушкам. Так что случаев побега в мою бытность там не было. Куда девались военнопленные после окончания сезона сахароварения — я не знаю. Через месяц, в марте, я покинул завод.

За время работы в Почапинцах я не только фактически ничего не заработал, но оборвался и здорово завшивел. Такого количества вшей на себе я никогда не встречал — ни до Почапинец, ни после. Мать велела мне у порога раздеться и всю одежду сожгла.

Опять я дома, опять без работы, на шее у матери.

Зима 1942 года была не только очень холодной, для многих голодной, но ещё и тревожной для всего населения. В центре города на одной из улиц в покинутых евреями домах было организовано ГЕТТО. Сюда свозили из других районов цыган и евреев, а затем расстреливали их в Куцайвке, что возле Красного хутора. Продолжались аресты и казни людей по доносам. Много тогда исчезло знакомых мне, в моём понимании ни в

чём не повинных, людей. Собираться в группы и о чём-то долго разговаривать стало небезопасно.

А в конце апреля — начале мая ко мне подошёл Евгений (фамилию не помню) — старшекласник из нашей школы, очень способный и развитый, но хромой на одну ногу, большой любитель музыки, отлично игравший на мандолине — и сказал, что собирает нечто наподобие концертной бригады, чтоб ездить по сёлам и концертами зарабатывать деньги. Мне он предложил играть в оркестрике на балалайке. Я согласился.

Начались репетиции. Мы разучивали песни — украинские, русские и советские, типа «Катюши» и «Любушки». Девчонки водили хороводы. Где-то Евгений откопал баяниста. Кое-что лёгкое мы разучили и оркестром. Чтецы читали Т.Шевченко и других «нейтральных» поэтов.

Наконец в с. Петрушки мы дали первый свой концерт. Клуб был переполнен. Нам здорово аплодировали — успех был налицо. Но наш первый концерт стал и последним. Денег от концерта оказалось ровно столько, чтобы расплатиться за нанятую подводу, кое-какой реквизит, музыкальные инструменты. Одним словом, заработка не получилось. За те гроши, что нам достались, никто больше не хотел ходить на репетиции, а выбираться с концертами в дальние сёла вряд ли мы смогли из-за отсутствия транспорта.

Незаметно пролетел май. В июне мы с двоюродным братом Борисом получили повестки для отправки в Германию. Что это такое — я уже знал. Поэтому и наши родители, и мы сами приложили немало усилий, чтобы туда не попасть. Но тщетно. У родителей ничего с этим не вышло. Тогда мы с Борисом решили пойти к бургомистру сами.

Бургомистром был тогда Александр Змиевский, наш бывший учитель. Он нас хорошо знал, и мы его тоже. Учителем он был очень строгим, но прекрасно знающим свой предмет, к тому же справедливым. У него-то мы и хотели найти защиту.

Змиевский принял нас вначале радушно. Но когда узнал, с чем мы пожаловали, — заметно скис и сказал, что вычеркнуть нас с Борисом из списка ему не под силу, да и кто же тогда поедет в Германию, если не мы. У него-де в учениках было

пол-Корсуня, и мы с Борисом не лучше их. Дальше он стал расписывать, как хорошо нам будет в Германии, и если там чем-то не понравится — вернёмся домой. Никакие наши аргументы его не разжалобили, и мы возвратились ни с чем.

Случайно я узнал, что в Корсунь из Германии возвратился по болезни Коля Мазин, мой одноклассник. Одно время мы с ним дружили. Коля жил на самом берегу Роси, как раз напротив островка «Зелена». У него была лодка — на ней мы плавали на рыбалку. А дома был настоящий патефон — подарок его отцу за ударную работу на литейном заводе. Мы часто его заводили и слушали модные тогда «Брызги шампанского» и «Дождь идёт».

Я пошёл к нему. Коля встретил меня без видимой радости. Он имел усталый вид, смотрел на меня грустными глазами, а когда узнал, с чем я пришёл — замкнулся и на эту тему вообще не хотел разговаривать, отвечал односложно и туманно.

— Ты можешь мне рассказать что-либо о Германии? Что там за работа, какая жизнь, что видел? — допытывался я.

— Поедешь — увидишь сам.

— Но ехать туда ты мне советуешь или нет?

— Как хочешь...

Вот так мы с ним поговорили. Коля не хотел сообщить правду о «его» Германии, хотя я ему о «своей» подробно рассказал. Он мог хотя бы намёком шепнуть, что следует или не следует делать, и что в Германии меня ожидает. Но побоялся и ничего не сказал.

Учитывая угрозы за неявку по повестке, чтобы не подвергать семью каким-либо неприятностям, мы с Борисом решили ехать. Авось, на Дарницкий мост больше не пошлют.

В назначенный срок мы с Борисом явились с «торбами» на Биржу. Нас провожали наши мамы. Всё было так же, как и в прошлый раз. «Торбы» — на подводе, сами — пешком. У магазина на углу Сотницкой и Вокзальной с нами попрощался дедушка. Тогда мы видели его в последний раз. Он так и не дождался нашего возвращения — умер в 1946 году в возрасте 76 лет. Я в ту пору служил в оккупационных войсках Советской Армии. Оттуда на похороны не отпускали.

В товарных вагонах, предназначенных для нас, полы были застелены соломой, окна без решёток и колючей проволоки. К каждому вагону был приставлен полицаи. До Киева ехали при открытых дверях. Можно было сидеть в дверном проёме, свесив ноги. На перегоне Корсунь — Сотники несколько человек спрыгнули из вагона и сбежали. Полицаи по ним не стреляли. Глядя на это, я спросил полицаю:

— Дядя Лёша, а что, если я сейчас сбегу?

— Твоё дело, — безразлично отреагировал полицаи. И бежать мне уже не захотелось.

Головне архівне управління  
при Кабінеті Міністрів України  
ОБЛАСЬНА ДЕРЖАВНА АРХІВ  
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
257015 м. Черкаси,  
вул. Хостинська, 244-а  
тел. 47-30-26

25.10.99, Черкаси, с.п.п.  
с.п.п. Довідка,  
бул. Саванарова, 15, к. 1  
гр. Сіренко Віктор Михайлович  
бу

14.01.99, С.п.п.  
№ 246  
№ 246

**АРХІВНА ДОВІДКА**  
В документах Черкаського облдержархіву є Відомості про те, що  
гр. Сіренко Віктор Михайлович  
в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. був (була) насильно  
вивезений (а) на примусові роботи до фашистської Німеччини.  
Дата вивезення червень 1942 р., дата визволення (повернення  
на батьківщину) не вказано.

Підстава: ф.р. [зображення печатки] оп. 1, спр. 2, арк. 85

Інших відомостей про діяльність немає. Радимо звернутися в Управління  
служби безпеки України по Черкаській області (257000 м. Черкаси, вул. Го  
голя, 240) для отримання інших даних, які Вам необхідні.

Директор архіву [зображення печатки] С.І.Кононенко  
Назарова 45-50-29

\* \* \* \* \*

**АРХІВНА ДОВІДКА**  
В документах Черкаського облдержархіву є відомості про те, що  
гр. Сіренко Віктор Михайлович  
в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. був (була)  
насильно вивезений(а) на примусові роботи до фашистської  
Німеччини.  
Дата вивезення червень 1942 р., дата визволення (повернення на  
батьківщину) не вказана.

\* \* \* \* \*

В Мироновке нас не конвоировали. Хочешь в туалет — иди. Хочешь сбежать на вокзал, походить по перрону — пожалуйста. Это как-то разоружало и удерживало от проявления

сопротивления. Позже я очень сожалел, что не воспользовался такой благоприятной возможностью сбежать. После Киева это было сделать всё труднее и труднее.

В Киеве нас построили в колонну и в сопровождении полицаев повели в район улицы Саксаганского, где заперли в одном из закрытых дворов с часовым у ворот, разместив в доме, окна которого выходили только во двор. Все окна, выходящие на улицу, были наглухо замурованы кирпичом. Со двора нас не выпускали, и к нам не впускали никого, даже родственников. Спали и сидели прямо на полу. Раз в сутки нас кормили капустным супом и гороховым пюре. Ещё давали немного хлеба и колбасы.

В этом дворе мы пробыли трое суток. Проходили медкомиссию и заполняли формуляры. Неожиданно, за сутки до отправления в Германию, нас посетил дядя Пётр. Борис разговаривал со своим отцом возле ворот. Тот пообещал ждать нас в Фастове на вокзале, если мы надумаем бежать.

Из Киева нас отправляли торжественно, с напутственным словом и духовым оркестром. На дорогу выдали по две буханки хлеба и два кольца копчёной колбасы. Двери вагонов по-прежнему были открыты. Сопровождавшие каждый вагон немецкие солдаты ехали пока что в отдельном пассажирском вагоне. Это немного обезоруживало, но мы с Борисом твёрдо решили в Фастове бежать. Как только поезд остановился, мы, забрав свои пожитки, побежали на вокзал, облазали все привокзальные закоулки, но дядю Петра так и не нашли. Мы тогда не сообразили, что он не мог на своей лошадке добраться до Фастова за сутки, и, разочарованные, вернулись в свой вагон, как только прозвенел колокол отправления.

Следующую попытку бежать мы сделали за Козятином. Вроде и двери настезь, и конвой не донимает, занимаемся в вагоне, кто чем хочет, а что-то внутри подсказывает, что не надо нам ехать в Германию...

На одной из остановок мы с Борисом опять покинули вагон и сели на товарняк, идущий в обратную сторону. И уехали бы, если б не услышали:

— Смывается? Раньше об этом надо было думать! По эту сторону Козятина таких, как вы, вылавливает специальный немецкий отряд и отправляет прямо в концлагерь. Вам что — жизнь надоела?

Жизнь нам не надоела. «Советчик» из нашего вагона прошёл мимо, а мы заколебались: «А вдруг и вправду — вместо Германии попадём в концлагерь?» Нет. В концлагерь мы не хотим. Нехотя, но пришлось покинуть поезд и вернуться в свой вагон.

До самого Перемышля бежать мы больше не пытались. В Перемышле долго стояли. Опять проходили медкомиссию, кормились хвалёным «горячим обедом» — традиционным капустным супом и гороховым пюре. Потом нам выдали хлеб и колбасу и загнали в вагоны.

Перед самой отправкой немцы наглухо закрыли двери вагонов, приказав не высовываться из окон. Теперь двери вагонов открывались только на больших остановках. В туалет стали водить группами под усиленным конвоем. Уже в Польше идущие мимо поляки, качая головами, сокрушались:

— По цо варьяки едзете? Там недобже, там неволя — уцекайте...

Но мы поняли, что «уцекать» надо было раньше — ещё между Корсунем и Сотниками. Теперь уж будь, что будет.

Заграница, даже Польша, была мне в диковинку. Тут действительно было не так, как у нас. И строения, и люди, и лошади, и телеги — всё было другим. Через окно удалось познакомиться с Краковом. Наш поезд долго медленно тащился рядом с его домами и улицами. Но чем дальше удалялись от Украины, тем больше тянуло домой.

Кончилась Польша — замелькали готические названия станций Германии. Появились островерхие, под красными черепичными крышами, дома. Бросались в глаза чистота и порядок, одномастные стада коров, опрятно одетые люди, подрезанные верхушки деревьев.

Но однообразие быстро надоело. Желаящих торчать у окна резко поубавилось, смолкли песни, громкие разговоры, смех.

Народ загрустил, задумавшись над своей дальнейшей судьбой. Как то она для них в Германии сложится?

## 8. В Германии

Рано утром мы остановились в Галле. Здесь был конец нашего путешествия. Разгрузились, построились и пошли через весь город куда-то на окраину в пересыльно-распределительный лагерь. Теперь «загадочную за границу» можно было рассматривать вблизи. Ничего плохого не скажешь: дома ухожены, улицы чисты, куда ни глянь — газоны, цветочные клумбы, обилие вывесок и реклам. Огромные лошади-битюги неспешно тащат телеги на резиновых колёсах с указателями поворотов и ручным тормозом. А по обочинам улиц — велосипедные дорожки. Чудеса, да и только!

Уставшие, уныло бредущие кто в чём, с «торбами» за плечами, мы были на улицах объектом усиленного внимания и насмешек горожан.

Распределительный лагерь «остарбайтеров» в Галле — это несколько типичных деревянных барачков, огороженных колючей проволокой и с часовым у проходной. В бараках — голые нары и несколько скамеек у стола.

Кормить нас сегодня не обещали, а в сумках у большинства от съестного остались жалкие крохи. Поэтому я принялся обследовать ограду и обнаружил, что из лагеря можно выйти на «волю». Рядом зеленеют огороды, и на них наверняка найдётся, что пожевать. Пока я подыскивал желающих сделать «вылазку», по лагерю разнеслось: «Вон в том бараке комиссованные по болезни ждут отправки на Украину!» Я бросил всё и побежал туда, к ним. Но они, как и Коля Мазин, ничего не рассказали, как им жилось и работалось в «остарбайтерах». Только посоветовали постараться попасть к бауэру.

Когда стемнело, я, Борис и ещё несколько ребят пролезли через ограду и сделали набег на немецкие огороды. Но впотьмах ничего подходящего, кроме свёклы, не обнаружили. Засветло я лично видел и морковь, и капусту, и горох, а сейчас они как будто сквозь землю провалились. Пришлось лечь спать с пустым желудком.

Только на следующий день, на обед, нас накормили капустным супом, гороховым пюре и куском хлеба грамм в 300. А вечером дали по кружке несладкого «эрзацкафэ». С этого дня меня не покидало чувство голода, вплоть до лета 1944 года.

На медкомиссию и заполнение бумаг ушло три дня. В анкетах мы, желая попасть к бауэрам, почти все записались сельхозработными. Но это не помогло — к бауэрам попали единицы. Остальных из нашего эшелона разбросали по фабрикам и заводам. Мы с Борисом, в числе ещё 60 человек, попали в г. Аммендорф на большой вагоностроительный комбинат.

## 9. В остарбайтерах

Грузовики доставили нас к одиноко стоявшему, окружённому сеточной оградой, четырёхэтажному зданию с решётками на окнах. Часовой впустил в узкий продолговатый двор.

От проходной к нам подошёл переводчик — наш, русский, с Волги. По его виду можно было определить, что живётся ему здесь неплохо. Переводчик прошёлся перед строем и объяснил, куда мы попали и что тут будем делать. Кто имеет специальность — будет работать по своей специальности. Кто не имеет — будет разнорабочим. Жить будем на третьем или четвёртом этаже. Есть душ, холодная и горячая вода. Все получают спецодежду, постель и посуду. Щётки и крем для обуви — общие. Газета на русском языке выходит один раз в неделю. Кино не будет. Писать родным разрешается один раз в месяц на специальных открытках. Выход за пределы забора — запрещён, появление на улицах города без знака «ОСТ» — тоже. О побеге нам лучше не думать. Побег или подготовка к нему наказываются одинаково — концлагерь. А в лучшем случае — выпорют, нарисуют на спине красной масляной краской круг и определяют здесь же на комбинате в штрафную команду. Там нам будет очень плохо. Ещё мы обязаны соблюдать чистоту, порядок, проявлять послушание. Сегодня мы отдохнём, получим всё необходимое, а завтра — пойдём на работу.

В большой комнате на третьем этаже, уставленной нарами, шкафами, тумбочками, столами мерзко воняло дезинфекцией. Тут же нашёлся староста комнаты, распределил нас по нарам,

показал места за столами, в шкафах и тумбочках, предложил спуститься на второй этаж и там получить спецовку, постель и посуду.

То, что я там наполучал, за один раз было не унести: из одежды — куртка, брюки, рубашка, бельё, носки; из обуви — ботинки; из посуды — алюминиевые миска, кружка, ложка, вилка, столовый нож; из постельных принадлежностей — два байковых одеяла, две простыни, наволочка; ещё — полотенце, салфетка и два знака «ОСТ».

Пока я всё это перенёс и устроился — наступил вечер. С работы пришли «старички». Мы сразу их обступили и забросали вопросами. К тому, что мы услышали от переводчика, «старички» добавили, что на работе за малейшую провинность бьют, налагают штрафы, кормят плохо и мало; за еду, брак, спецовку и постель вычитают из зарплаты. Больничных не дают, «перекуров» не существует, на работу водят под конвоем, работа тяжёлая и по 8 часов в день. Выходной — воскресенье. Комиссования по болезни добиться очень трудно. Самый плохой цех — малярный.

Нас весь день не кормили, и полученными на ужин миской капустного супа, отдающего тмином, и куском хлеба мы не наелись.

Спалось на новом месте плохо — от духоты, зловония дезинфекции, невесёлых дум. После всего увиденного мне захотелось домой. Это «заведение» до боли напоминало мне киевскую лесопилку.

Утром вновь прибывших «новичков» распределили по цехам и бригадам. Когда все ушли, во дворе остались только четверо несовершеннолетних курсунчан: я, мой брат Борис, Миша Раченко и Коля Цюник. Минут через 20-30 расписался за нас на проходной и взял нас под свою команду немец лет пятидесяти. Он повёл нашу бригаду мимо комбината, через железнодорожный переезд, потом несколько сот метров огородами и остановил на небольшой строительной площадке возле сооружаемых деревянных барачных конструкций. Здесь нам предстояло разгружать и укладывать барачные конструкции, а при

отсутствии грузовиков — заниматься уборкой, так как бездельничать было «штренг фэрботэн» (строго запрещено).

Однако на наше счастье мы всё-таки не столько работали, сколько валялись дурака. Грузовики прибывали редко, а на стройплощадке — исключительный порядок и чистота. «Наш» немец пытался хоть чем-то нас занять, но, так ничего и не придумав, коротал вместе с нами время за разговорами. С каждым днём наши беседы становились длиннее и откровенней. От «нашего» немца мы узнали, что война «не карашо», что на Гитлера были покушения, что немцам живётся тяжело: не хватает продуктов питания, топлива, сырья. Всюду тотальная слежка. Но об этом — молчок: «Гестапо геерт мит» (гестапо подслушивает).

Несколько раз он возил нас на работу в какие-то маленькие мастерские в центре Аммендорфа. Там мы таскали непонятого назначения железяки. А в основном — находились у бараков. Иногда немец отлучался. Тогда мы набрасывались на овощи, растущие в огороде: морковку, капусту, кольраби, огурцы. Когда «наш» немец стал отлучаться чаще и надолго, все четверо мы решили, что лучшего места для совершения побега — не придумать! Рядом железная дорога. По ней часто проходят военные эшелоны и, наверное, на Восток. Поездом за трое суток мы смогли бы добраться до Украины. Бежать надо, пока тепло и пока нас не перевели на работу в цеха. Надо только дожидаться подходящего случая.

Подходящий случай не заставил себя долго ждать. Спустя несколько дней мы пришли на работу. Делать было нечего. «Наш» немец куда-то ушёл, наверно, узнавать, будут ли грузовики. «Или сейчас — или никогда!» — решили мы и, собравшись с духом, побежали к железной дороге. Спрятавшись в кустах лесопосадки, стали поджидать подходящий поезд с военной техникой. Минут через десять показался эшелон, гружённый танками, накрытыми брезентом. «Наш!» — решили мы и побежали к поезду. Хорошо, что в этом месте поезда всегда двигались медленно. В считанные секунды я, Миша Раченко и Коля лежали под танком. Борис не успел запрыгнуть на наш вагон и оказался в следующем.

Счастливые, мы наблюдали через дыру в брезенте, как оставались позади наша стройплощадка и место, от которого следовало убраться подальше. Поскорее бы миновать Галле, а там — ищи ветра в поле! В Галле — продолжительная остановка. Мы разглядывали станцию, шагающих по перрону пассажиров. И вдруг — о, боже! — жандарм ведёт по перрону нашего Бориса. «Ну, всё! — подумал я. — Если Борис расколется — очередь за нами». Лежим, ждём — деваться всё равно некуда. Но Борис нас не выдал. Мы поехали дальше, но с предчувствием, что на ближайших станциях нас снимут с поезда. Однако уже несколько станций миновали благополучно, и пока — тьфу-тьфу! — кажется, пронесло.

Уже после войны, осенью 1945 года, я узнал, что Бориса тогда отправили в Дахау.

На следующей большой остановке за нами тоже не пришли. Когда поезд двинулся дальше, мы, успокоившись, уснули.

Проснулись от холода и тишины. Наш эшелон стоял. Была ночь. Издали доносились голоса железнодорожников. Хотелось есть, пить, в туалет, но мы стойко терпели и вели себя тихо.

Когда поезд тронулся, я заметил, что паровоз сменили на электровоз. Мы поехали значительно быстрее. Позже я обратил внимание, что едем мы по однопутной дороге. В Германии же, насколько помню, нас везли по двухпутной. Интуиция подсказывала, что мы едем не туда, куда думали. Я поделился своими сомнениями с ребятами. Те только посмеялись — откуда, мол, тебе знать, как нас везли, да и разве в Германии может быть только одна дорога? Возможно и так. Только это меня не успокоило.

Утречком мы прибыли на маленькую станцию, и стояли почему-то долго. Наконец, к нам подцепился маневровый дизель и потянул эшелон в обратную сторону. Мы ехали по запущенной колее через лес. Миновали лесок, проехали мимо шлагбаума с часовым и остановились возле высокой платформы. По ней взад-вперёд расхаживали военные. Периодически они подходили к вагонам, снимали брезент, заводили танки и своим ходом отправлялись на площадку, выстраивая их в единый ряд.

Дошла очередь и до нашего вагона. Сняв брезент, немцы сначала удивились, потом подняли громкий хохот. На хохот сбежались остальные. Под свист и улюлюканье нас извлекли из-под танка и отправили к своему начальству.

Командир посмотрел на нас и без лишних слов направил в местную жандармерию. Так плачевно окончился наш удачно начавшийся побег. Выходит, переводчик из Аммендорфа предупреждал нас не зря: «Из Германии убежать невозможно!»

## 10. В жандармерии

Камера в жандармерии была светла и просторна. Окно выходило во двор на солнечную сторону. Кроме нар и «параши», ничего в ней больше не было. Все стены исписаны бывшими узниками. Надписей было много, а содержание — одинаково: «Мы, ... (перечислялись фамилии), из ... (адрес) с ... по ... (даты) сидели здесь за побег из ... (место побега). Прощайте, товарищи! Сообщите о нас родным!»

От слов «прощайте, товарищи» становилось неудобно. Наслышанные о зверствах гестаповцев, мы приготовились сопротивляться. Придумали фальшивые имена и фамилии, адреса, сочинили версию, что мы не бежали с работы, а отстали от поезда, когда нас везли на работу в Германию. Договорились держаться стойко, что бы с нами не делали. Первого допроса ожидали со страхом, подготовившись к самому худшему.

В обед нам принесли по куску хлеба и по кружке воды. Часа через два в камеру зашли двое — офицер и переводчик, говорили по-польски. Нас спросили, кто мы и откуда. Мы отвечали, как договорились. Они записали наши ответы и, ничего не сказав, ушли.

Мы стали ожидать дальнейшего развития событий как в связи с нашим враньём, так и вообще. Думали, будут допросы, пытки... Но нас в этот день больше никто не тревожил.

На следующий день в обеднее время нам опять принесли по куску хлеба и по кружке воды. Вскоре пришёл переводчик. Один, без офицера. Ко времени его прихода мы уже «переиграли» нашу версию — решили признаться и сказать правду. Не знаю, верно ли мы поступили, но рассуждения по этому поводу

были такие: вдруг нас казнят? Тогда родные никогда ничего о нас не узнают. Ведь фамилии и адреса-то вымышленные! Все согласились — пусть родители о нас узнают правду.

В этот раз мы признались переводчику и кто мы такие, и откуда сбежали.

— Что же вы мне голову морочите! — обрадовано воскликнул переводчик и, записав наши, теперь уже правдивые, показания, довольный ушёл.

А мы принялись ждать, что нам теперь будет за наше враньё. Однако нам ничего не было. На третий день в то же самое время опять дали хлеб и воду. Потом пришёл незнакомый жандарм и забрал с собой Колю Цюника. Как оказалось впоследствии — к бауэру. В камере остались только я и Миша.

На четвёртый день рано утром нас отправили в Магдебург в GESTAPO. Ехали на пассажирском поезде в сопровождении высокого, молодого, красивого, добродушного вида жандармского офицера. Куда — мы ещё не знали. Полагали, на работу в другое место.

## 11. В магдебургском GESTAPO

С магдебургского вокзала до GESTAPO добирались трамваем. Ехали очень долго, глаза на город. Здание GESTAPO находилось рядом с трамвайной остановкой. На втором этаже сопровождавший нас офицер усадил меня и Мишу в коридоре, а сам вошёл в кабинет напротив. Пробыв там несколько минут, он возвратился с ефрейтором «СС». Пожелав нам «аллес гутэ», жандарм передал нас эсэсовцу и удалился. Ефрейтор долго водил нас коридорами, пока мы не очутились в маленькой тесной камере, где вместе с нами стало теперь 12 человек. Здесь можно было сидеть, стоять, но только не лежать. Первым делом мы поинтересовались, как давно здесь находятся наши сокамерники, часто ли вызывают на допросы, не применяют ли пытки, как кормят, где ночью спят.

Находились они здесь от трёх суток и меньше. На допросы не водят, о пытках ничего не известно, кормят — по куску хлеба с кружкой воды один раз в сутки, спят на полу по очереди.

Так, на хлебе и воде, почти без сна и свежего воздуха, мы с Мишей пробыли в ГЕСТАПО трое суток. Никто здесь ни о чём нас даже не спросил. Время коротали за рассказами, каждый о себе, откуда и как бежали — здесь все сидели за побег. Никому не удалось преодолеть повсеместно расставленные на беглецов сети. Всё на их пути просматривалось, всё охранялось. Доносчиками были и стар, и млад. Мне опять вспомнились слова переводчика из Аммендорфа: «Из Германии убежать невозможно!»

На четвёртые сутки утром двери камеры открылись, два эсэсовца всех нас вызвали по списку в коридор, затем отвели на тюремный двор и посадили на грузовики.

Ехали не более двух часов. Остановились около лагеря. Над воротами большими буквами было написано «Лецкау». Это был накопительно-распределительный лагерь перед отправкой в концлагерь. Такие лагеря чаще всего называли «штрафными» за нечеловеческие условия пребывания.

На лагерном плацу стояла большая колонна людей с вещами. Нас присоединили к ним. Выяснилось, что всех нас будут затем куда-то отправлять, что в этом лагере было очень плохо: здесь били, издевались, отвратительно кормили. Целыми днями маршировали, бегали, ползали, ходили «гусиным шагом». За покалеченных и забитых насмерть никто не отвечал. Одним словом, натерпелись. А самым жестоким и изобретательным по части издевательств был некий Витька из Западной Украины — небольшого роста, плюгавенький, низколобый, яростно ненавидевший всех, кто прибыл из СССР, особенно украинцев, считая их «запроданцами», «зрадниками нації». Так что нам с Мишей повезло, что Лецкау «отведать» не придётся. А Витьку нам увидеть таки довелось — он околачивался неподалёку от нашей колонны. Забегая вперёд, скажу, что летом 1944 года Витька сам попал в Заксенхаузен и был убит бывшими узниками Лецкау.

На плацу мы постояли около часа. Потом нас подравняли, пересчитали и вывели за ворота. Здесь, окружив плотным конвоем с собаками, повели на дорогу.

Идти было тяжело даже тем, кто был налегке. Брусчатая дорога, знойный день, не по погоде тёплая одежда очень затрудняли наш путь. Люди начали избавляться от вещей. Прямо на дороге оставляли чемоданы, сумки. Неспособных идти конвойные убивали.

Вообще-то, наша колонна представляла собой красочное зрелище: кто в элегантных костюмах и шляпах, кто в рубище, кто с вещами, кто без них. Громкий топот ног, ругательства конвойных, несмолкающий лай овчарок, выстрелы из карабинов и автоматов — такое не забывается.

На железнодорожной станции стояли несколько больших вагонов-«пульманов». Криками и прикладами карабинов в каждый из них загнали более чем сто человек. Было тесно, как сельдям в бочке. К тому же жарко, как в духовке, от раскалённых на солнце крыши и стенок вагона. Пот валил градом, но утереть его было невозможно — настолько тесно были прижаты руки. В вагоне зашумели, посыпались проклёны «душегубам». Но несколько автоматных очередей поверх вагонов враз всех успокоили. А один из шутников подбодрил:

— Не дрейфь, братва! Тронемся — утрясёмся.

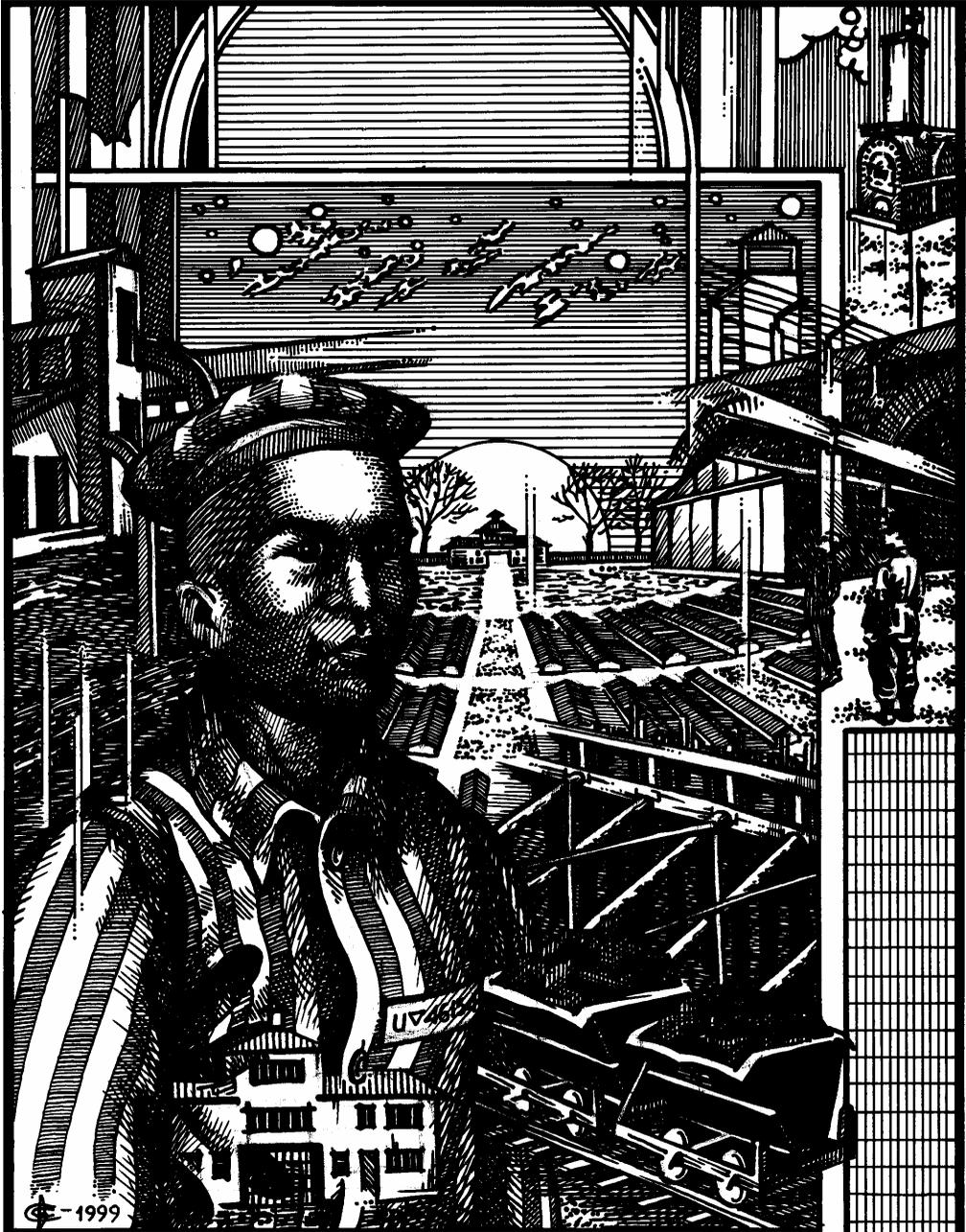
Шутник оказался прав. В пути действительно стало легче дышать, и мы почувствовали, что произвольно движемся в вагоне по кругу, не поднимая ног. Я заметил, что безо всяких усилий приближаюсь к окну. У окна — спасение от духоты. Надо там как-то задержаться. И тут я вспомнил о кольцах для привязки лошадей. Надо найти такое кольцо — оно должно быть недалеко от окна. И я нащупал его, крепко ухватился, не дав толпе вновь увлечь себя в центр вагона. Кольцо я не выпускал их рук до самого конца пути, страдая от жары только во время стоянок. А их было много! Нас почему-то везли то вперёд, то обратно, прицепляя к разным поездам.

На одной из станций возле колёс нашего вагона задержался пожилой немец-железнодорожник. Мы попытались узнать от него, куда нас везут. Покрутив пальцем у виска, он произнёс:

— О, руссишэ думэн! — и больше ничего. Я знал, что «думэн» переводится как «дураки».

Часа через четыре наше путешествие завершилось. Станция, на которой мы остановились окончательно, называлась «Ораниенбург». С криками: «Люс, аллэс рауз, абэр шнэль», орудуя прикладами, нас быстро выгрузили из вагонов. От вокзала мы двинулись пешком. У самой окраины города резко повернули налево, ещё несколько минут прошагали в обратную сторону улицей, с обеих сторон зажатой высокими железобетонными заборами с колючей проволокой наверху. Последний поворот направо — и мы перед «Брамой», небольшим двухэтажным зданием.

Над его крышей по центру возвышался островерхий шпиль. Внизу, в широком сквозном проёме, виднелись зелёные ворота из железных прутьев с приваренными к ним металлическими буквами известного всему миру после войны изречения: «Арбайт махт фрай!» (труд освобождает).



© 1999

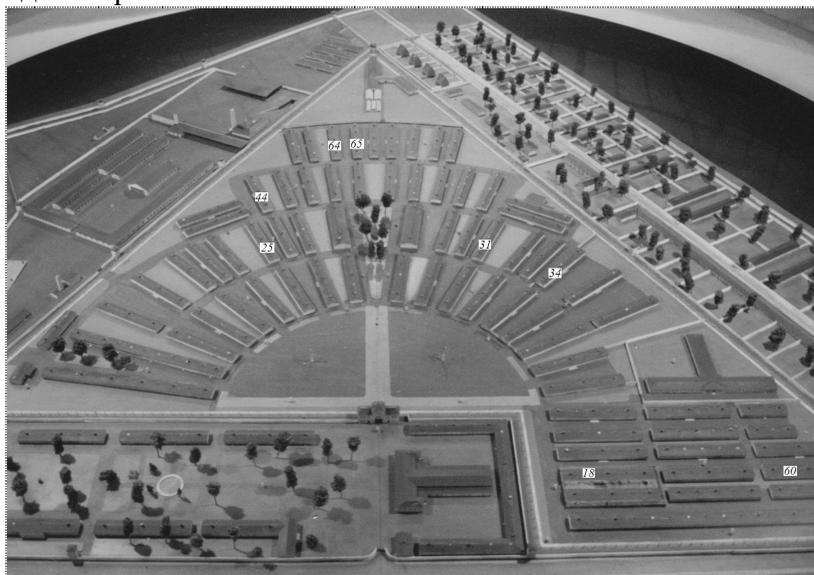
ЧАСТЬ II. Arbeit Macht Frei



## В концлагере Заксенхаузен

Краткая справка:

Концлагерь Заксенхаузен основан летом 1938 года как образцово-показательный, и спроектирован архитектором Куипером в виде равностороннего треугольника таким образом, что с одной точки можно было вести наблюдение за всем комплексом. Этой точкой было пулемётное гнездо на входной Броне.



*Концлагерь Заксенхаузен (план-макет).*

1. Входная брама.
2. Аппэль плац (площадь для переключек).
3. Дорожка испытания обуви.
4. Ревир (поликлиника и больница).
5. Баракки штрафников и советских военнопленных.
6. Целенбау (спецтюрьма).
7. Малый лагерь.
8. Баня.
9. Шрайбштуба (канцелярия).
10. Прачечная.
11. Кухня.
12. Индустриальный двор (ДЭУ, Шугфабрик, Гольцплатц).
13. Крематорий.
14. Цифрами 18, 65, 31, 25, 64, 34, 60, 44 обозначены блоки, в которых я проживал в разное время.
15. Место для виселицы.

Лагерь окружали административные здания, промышленный двор, казармы и жилые дома «СС».

В 1938 году недалеко от лагеря в так называемом «здании Т» разместилась «Инспекция концентрационных лагерей» всей Германии. По воле Гимmlера инспекция разрабатывала планы и организацию системы реализации трудовой деятельности, транспортировки, проведения медицинских экспериментов и

массового умерщвления узников.



*Приспособление для экзекуции узников.*

ских условиях.

В 1941 году «СС» создало вне лагерной стены «спецлагерь» для заключения известных личностей. Среди них был канцлер Австрии Курт Шушнинг, предприниматель Фриц Тиссен, сын Сталина Яков, Степан Бандера и другие.

В этом же году в Заксенхаузене начали умерщвлять психических больных. Свыше 12 тысяч человек советских военнопленных были казнены при помощи «установки для расстрела в затылок».

В 1942 году в Заксенхаузене было построено «Отделение ЗЕТ», в котором в 1943 году была установлена газовая камера. «ЗЕТ» — последняя буква в немецком алфавите, символически подчёркивала окончательную судьбу привезённых туда заключённых. Так Заксенхаузен превратился в лагерь смерти.

Через муки Заксенхаузена прошло более 200 тысяч людей 47 национальностей. 104 тысячи человек из них — каждый второй — здесь были убиты.

С начала Второй мировой войны «СС» помещало в Заксенхаузен множество людей из оккупированных стран и военнопленных. Рассчитанный на 12 тысяч заключённых, лагерь в скором времени вмещал 60 тысяч человек. Будничным явлением в нём были голод, наказания и пытки.

Заключённые трудились более чем в 100 филиалах и штрафных командах. Так, например, на «Клинкере» (завод по выпуску кирпичей) заключённые выполняли тяжелейшие работы в нечеловеческих условиях.

В апреле 1945 года концлагерь Заксенхаузен освобождён советскими и польскими войсками.

Накануне освобождения лагерь был в спешном порядке эвакуирован. По замыслу инспекции концлагерей заключённых Заксенхаузена должны были в пешем порядке пригнать в порт Любек, погрузить на баржи и утопить в море. Осуществить этот коварный замысел помешали Советские войска, обогнав колонны узников и освободив их.

Марш начался 21.04.1945 г. и закончился 3.05.1945 г. в Гриффитце (схема марша прилагается). Не всем узникам довелось остаться в живых. Конвоиры безжалостно убивали в пути всех, кто не мог идти. Нездаром этот марш в истории концлагеря Заксенхаузен назван «Маршем смерти».



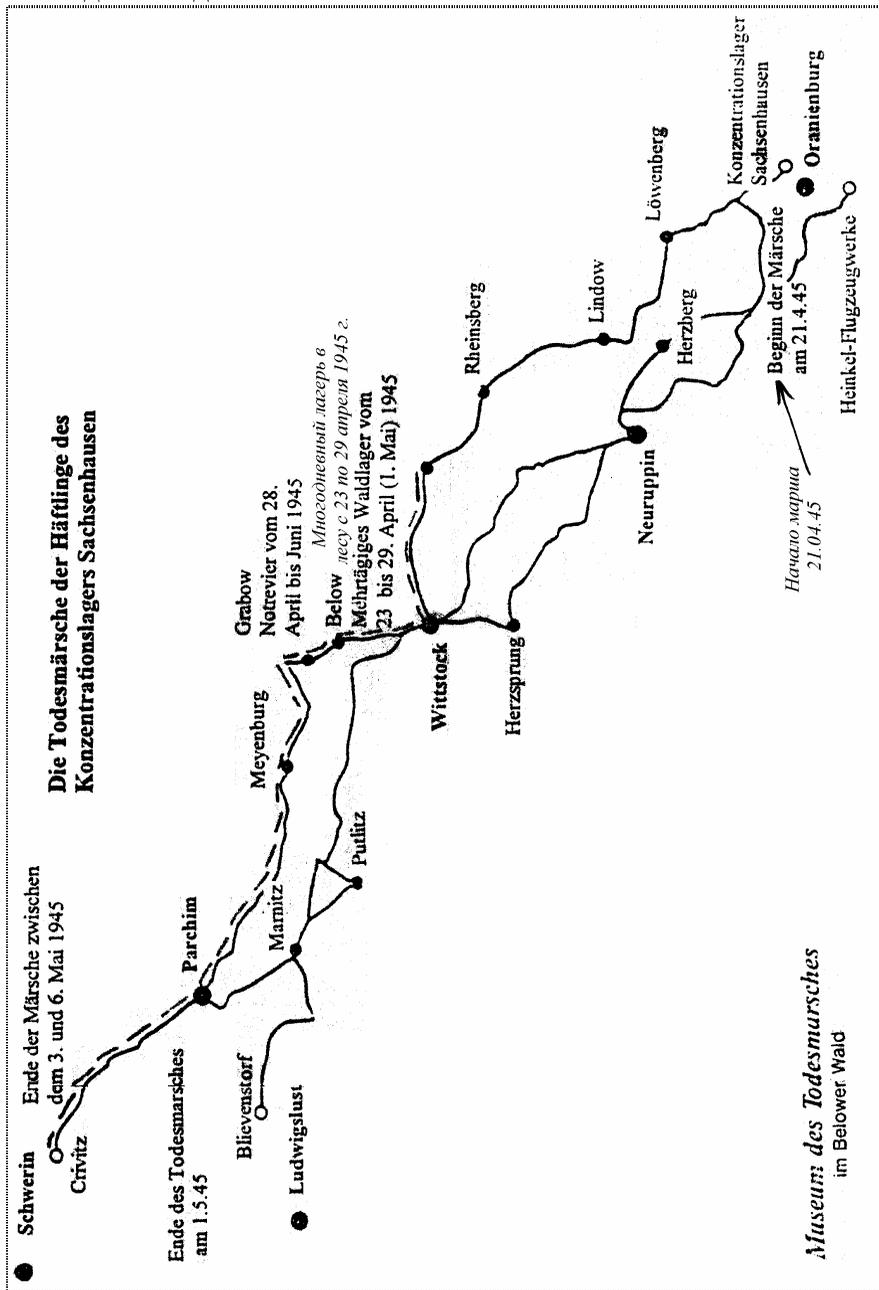
*Общий вид крематория (макет).*

*А — дымовая труба и печи для сжигания трупов. В — подсобные помещения для допросов, пыток и умерщвления с помощью газа, повешений и расстрелов.*



*Печи крематория и его продукция: волосы, кости, пепел.*

Таким вот образом голодные, страдающие от жажды, обессиленные узники Заксенхаузена совершили свой последний подвиг.



## 1. Первое знакомство

Широко распахнутые ворота «радушно» приняли новое пополнение. Зашли в лагерь. Встали лицом к Бреме. Нам велели не садиться и не оборачиваться. Садиться, хоть и очень хотелось, мы не стали. А вот от соблазна поглазеть по сторонам — не удержались.



*1942 г. Заксенхаузен. Перед входной брамой.*

Прямо перед глазами — ухоженный зелёный газон. За ним — цветочная клумба. За клумбой — немыслимой конфигурации заграждение из колючей проволоки. Перед ним — табличка: «Ахтунг! Лэбэнсгэфэр!» («Внимание! Опасно для жизни!»)

Позади всего этого — ещё два забора. Между ними — дорожка для патрулей. Забор, что поближе — натянутые на столбы ряды колючей проволоки под током высокого напряжения. Второй забор, высотой в два человеческих роста — железобетонный монолит с колючей проволокой поверху на металлических кронштейнах, под углом вовнутрь лагеря.

Если ко всему увиденному добавить ещё и крупнокалиберный пулемёт под шпилем Брамы, то заграждение выглядело

весьма внушительным.

По обе стороны тянулась бетонированная дорожка, на которой мы стояли, а за спиной начиналась площадь — «Аппэльплац» (площадь для перекличек).

За площадью торцами стояли деревянные зелёные бараки. На бараках — огромные белые буквы. Они, образуя слова, призывали к порядку, послушанию, прилежанию. У барачков копошились несколько человек в светлых полосатых одеждах. Кто-то пошутил: «Никак в санаторий попали!»

И впрямь: чистота, цветы, полосатая одежда, похожая на больничные пижамы, ассоциировались с нашими оздоровительными учреждениями. Но пулемётное гнездо на крыше, высокие заборы и обилие колючей проволоки под током с ними никак не вязались.

Минут через 20 нас отвели к одному из крайних барачков. Это была баня, одновременно служившая и санпропускником.

Конвейер по превращению свободных людей в заключённых работал быстро и организованно. Все операции выполнялись заключёнными под надзором военных «СС».

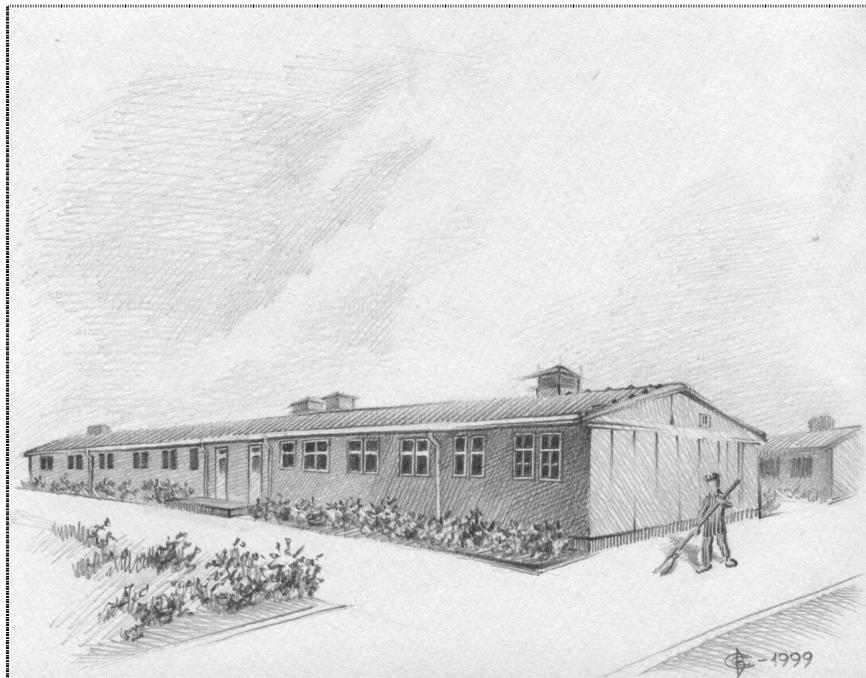
Снятая одежда паковалась в большие бумажные мешки. Документы, деньги и драгоценности заносились в книги и принимались отдельно. Мой аусвайс и несколько рейхсмарок так и остались зашитыми в подкладку моего пиджака.

Потом нас обстригли и побрили, загнали в скоротечный душ. Холодная вода в нём быстро превращалась в горячую, и наоборот.

Затем был медосмотр. Раны смазывались и бинтовались, а лобок и подмышки опрыскивались вонючей дезинфекцией — говорили, против вшей.

Наконец, нам выдали одежду и обувь. Я получил полосатые куртку, брюки и митцен (бескозырку), бельё из голубой в светлую узенькую полосочку ткани, носки и голендры (деревянные долбанки) на ноги.

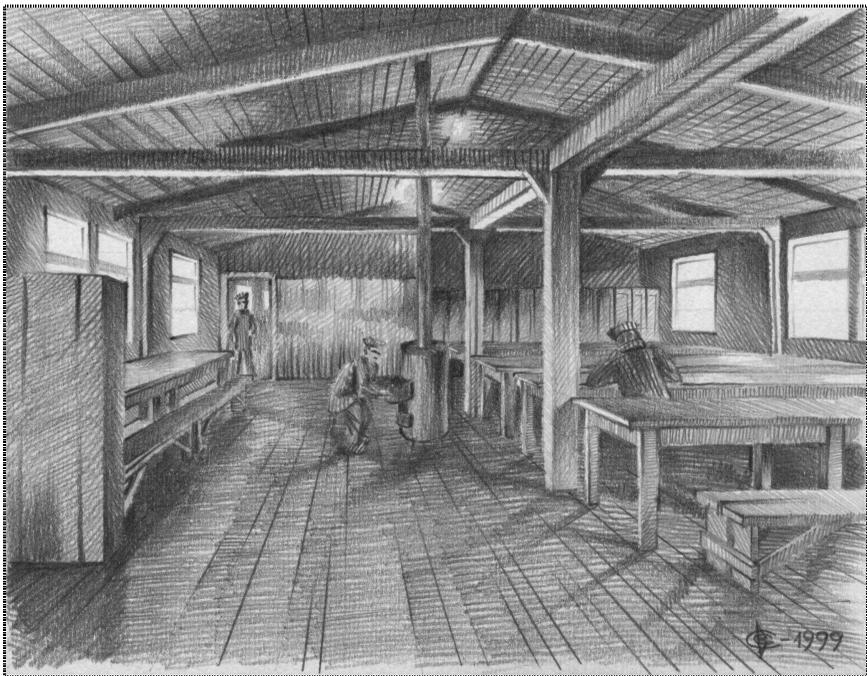
Одетые и обутые, мы выходили из бани и становились в строй. Построением занимался заключённый-немец, говоривший по-польски. Когда все были в сборе, он отвёл нас в Малый лагерь к 18-му блоку (барачку).



*Заксенхаузен. Жилой блок (барак). Внешний вид.*

Все блоки делились на два флигеля: «А» и «Б». Посредине блока располагались туалет и «Вашраум» (умывальник). Старшим в блоке был «Блокэльтэстэр» (староста блока). Он жил во флигеле «А». Во флигеле «Б» старшим считался «Штубэнэльтэстэр» (староста комнаты-флигеля). Я попал во флигель «Б» 18-го блока. Немец, доставивший нас в Малый лагерь, оказался старостой флигеля — «штубовым» — и теперь моим прямым начальником.

Начало уже темнеть, когда поочередно, группами по 35 человек, нас стали заводить в блок и усаживать за столы, наказав запомнить свои места. Всего столов во флигеле было шесть. Старшим стола назначался «Тишэльтэстэр» (староста стола). Мы его звали «столовым». Он считался нашим непосредственным начальником — определял места за столом и на нарах в «шляфзале» (спальном зале), выдавал посуду и постель, следил за порядком за столом и в шкафах, отвечал за дежурство стола по блоку, проверял нас на вшивость.



*Заксенхаузен. Внутри жилого блока.*

Я получил большую металлическую красную миску, металлическую кружку, ложку, вилку, нож, салфетку, полотенце и кусок мыла. Из постельных принадлежностей нам выдали по одному байковому одеялу, по простыне и наволочке. Посуда хранилась в определённом порядке в шкафу на четырёх человек, а постель заправлялась по строго установленному шаблону.

Больше всего нас беспокоил вопрос, будут ли кормить. Ответили, что нет — нас ещё не поставили в списки на довольствие. На то, что мы сегодня целый день не кормлены, жаловаться было некому.

После отбоя в 10 часов вечера я долго не мог заснуть. Очень хотелось есть, а душу раздирала досада: за что? За что в мои 16 лет столько страданий? Почему я не убежал с поезда ещё на перегоне «Корсунь — Сотники» или в Мироновке, Фастове, в том же Казатине? Ведь была же возможность!

В Корсуне сейчас время созревания фруктов и овощей. Там мать и родственники. Мне так захотелось домой, что впору

пустить слезу. Но, увы!

А сон-дрёма меня всё-таки одолел.

Проснулся я от шума и криков:

— Ауфштэйн! Аллес рауз ауз ди бэттэн! (Подъём! Всем из коек!)

В спальне царила суета. Кто не проснулся — будили палками. Согнанные с нар, пытаясь увернуться от ударов, пуль вылетали из шлафзала. Я подбежал к своему шкафу, схватил мыло, полотенце и направился в вашраум. Но там вокруг круглых фонтанов-умывальников тесно сплотился моющийся люд. Попробуй пробиться! Но и нормально умыться не давали «палочки». Они во всём нас торопили и били, покрикивая: «Люс!» и «Бэвэйгум!» (Поторапливайтесь! Пошевеливайтесь!)

Умывшись и заправив постели, мы уселись за столы в ожидании завтрака. Но каково же было наше разочарование, когда на завтрак принесли только несладкий, горьковатый «эрзацкофе»! Обычно в Заксенхаузене по утрам приносили «кноррзуппэ», но сегодня нам не повезло.

После завтрака мы простояли возле блока в строю около двух часов, до окончания утреннего апшэля (проверки) и ухода на свои объекты рабочих команд.

Подошедший к нам штубовый произнёс нечто вроде напутственной речи. Он подтвердил, что мы находимся в концлагере Заксенхаузен. Здесь за наши жизни никто не отвечает и о том, чтобы преждевременно не попасть в крематорий, мы должны позаботиться сами своей дисциплинированностью, послушанием, прилежанием, строгим выполнением лагерного распорядка. Этому все мы будем учиться в 18-м карантинном блоке ровно 14 дней. Потом нас распределят по рабочим командам, и мы будем жить в Большом лагере. К занятиям приступим сегодня, прямо сейчас.

Как только штубовый умолк, нас окружили несколько заключённых с зелёными «винкелями» (треугольниками) на груди, с палками в руках, и «процесс пошёл».

Первым делом мы принялись изучать выполнение военно-строевых команд. И всё бы ничего, если б они не подавались на немецком языке. Не зная его, мы не могли понять, что от нас

требуется. Поэтому «наука» внушалась нам палками, криками и оскорблениями типа «руссишэ швайн» (русские свиньи). Палками били всех подряд, не выбирая ни правых, ни виноватых, ни мест на теле. Уставшие и избитые, мы с трудом дождалась обеда. А в обед ознакомились, чем здесь кормят. На первое получили по 0,75 л брюквенного супа, на второе — по 5-7 картошек «в мундире» и по 0,5 л капустной подливы с привкусом тмина. Хлеба не было.

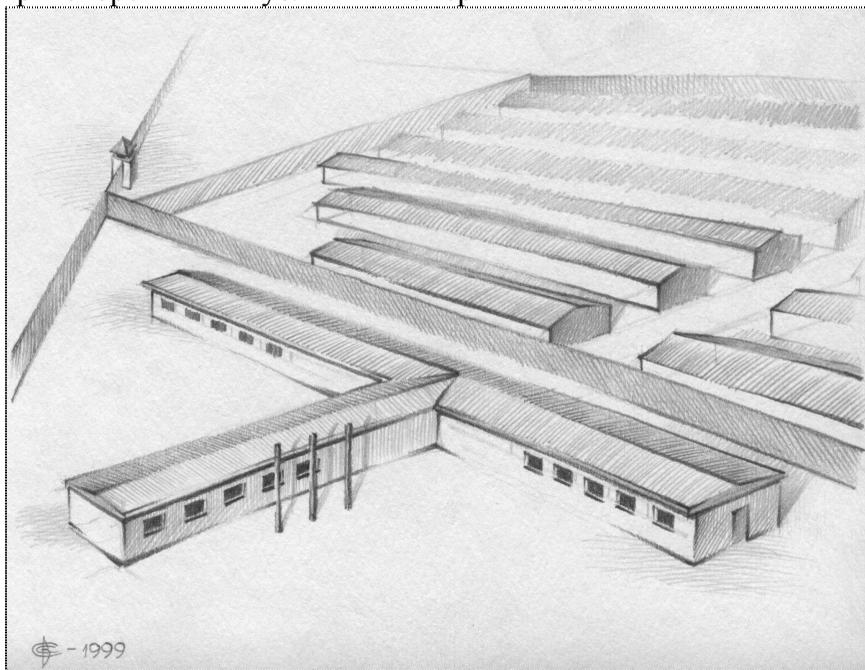
Естественно, мы не наелись, а только растравили свои желудки, и есть захотелось ещё больше. Хорошо, что после обеда нас не муштровали, а увели в «камеры» (склады) изготавливать свои лагерные номера. Камеры размещались в самом конце лагеря. Там нам выдали по два лоскутка белой ткани, и при помощи трафаретов мы нанесли на них свои номера. Мой выглядел так: U∇46154.

Латинская буква означала национальность: U — украинец, R — русский, P — поляк, F — француз и т.д. Цветной треугольник указывал на вид преступления: красный — политика, зелёный — воровство, чёрный — бандитизм, фиолетовый — религиозные убеждения и т.п. Цифры обозначали порядковый номер поступления в лагерь. Взглянув на номер, можно было моментально определить, какой национальности заключённый, за что попал в концлагерь и когда.

Пришив номера, один — на куртку с левой стороны груди, а второй — на правую штанину брюк, мы возвратились в свой карантинный блок.

Вскоре подоспел ужин: 250 граммов хлеба, кусочек (граммов 20) маргарина, кружочек ливерной колбасы, столовая ложка мармелада (повидла), 0,5 л подливы из брюквы и несладкий чай из неизвестной травы. После ужина до отбоя (это более двух часов) полагалось свободное время. Из любопытства я побродил по Малому лагерю и узнал, что 19-й и 20-й блоки, как и наш 18-й — карантинные. В 17-м — старики, инвалиды и временно освобождённые от работы по болезни перебирают и сортируют алюминиевые авиазаклёпки. В блоках, огороженных высокой металлической сеткой, — неизвестно что. Ещё в двух блоках разместились мастерские по ремонту

одежды и обуви. А дальше тянулся забор с охраняемым шлагбаумом — «Цэлленбау» (тюрьма) для именитых личностей, таких, как Эрнст Тельман, Яков Сталин, Степан Бандера, а также приговорённых к публичным смертным казням.



*Заксенхаузен. «Цэлленбау» — Т-образная спецтюрьма. Рядом три столба для подвешивания узников.*

Остальные мои друзья по несчастью провели своё свободное время кто как. Одни, собравшись в небольшие группки, сидели под блоком и проклинали свою судьбу, другие — курильщики — рыскали в поисках хоть какого-нибудь пучка сухой травы для нескольких затяжек.

После отбоя — шлафзал и сон. На следующий день — подъём, умывание, завтрак, аппэль, муштра до самого вечера. И так все 14 дней.

Чтобы свести ежедневные побои до минимума, мы собирались группами «штудировать» немецкие команды. До окончания карантина я выучил их все до одной. Надоедливые «Линкс, цво, драй, фир!» (Левой, два, три, четыре!) вспоминаются и сегодня, спустя 54 года. А разве можно забыть единый, одновременный хлопок о штанину по команде «Митцен аб!» (Шапки

долой!) всего лагеря?

«Митцен аб!» — целая наука. Команда подавалась отдельно. После слова «митцен» следовало двумя пальцами правой руки ухватиться за край бескозырки, а после слова «аб» — громко ударить бескозыркой по правой ноге. Сколько палок мы получили, пока научились это делать одновременно всем блоком!

Научились мы в карантине и кое-каким другим «премудростям» концлагерного быта. Все толстяки за 14 дней полностью избавились от лишнего веса и выглядели вместе с остальными одинаково тощими. Двое из нашего пополнения не выдержали физической нагрузки, побоев, морального унижения и повесились.

Карантин всем надоел. Жажда перемен, мы наивно предполагали, что после него нам станет лучше.

## 2. Рабочие команды Заксенхаузена

Сегодня с карантином покончено. Мы покидаем 18-й блок. У всех довольные, как у выпускников, лица.

— Нам бы ещё дипломы! — съехидничал кто-то.

Мы сдали посуду, постель, съели свой последний здесь ужин и отправились в Большой лагерь, чтобы поселиться в предписанные нам блоки. Мне достался 65-й. Он оказался не лучше 18-го. Здесь недоставало только муштры, а всё остальное было в точности, как там. Очень донимали беспричинные долгостояния около блока по утрам «на свежем воздухе», невзирая на погоду. Как только начнут доноситься первые удары лагерного колокола, собирающего на аппэль, наш 65-й, из-за отдалённости, почти бегом спешит на аппэльплац, чтобы там вовремя занять своё установленное место.

Всего несколько минут — и огромная площадь полностью заполнена людьми. Над морем голов одиноко возвышаются головы двух негров. Они — достопримечательность Заксенхаузена, самые высокие по росту в лагере.

Я на аппэле впервые. Внимательно наблюдаю за всем, что происходит. Около нас суетятся блоковый со штурбовым: подравнивают, пересчитывают. Блоковые по очереди подбегают к

рапортфюреру, пожилому унтер-офицеру «СС», с докладами о наличии. Наконец, он подбивает общий баланс и командует всему лагерю:

— Ахтунг! (Внимание!)

— Фэртык! (Приготовиться!)

— Рихт ойх! (Равняйсь!)

— Дас канцэ штильгэштан! (Смирно!)

— Митцен аб! (Бескозырки снять!)

— Ди аугэн линкс! (Равнение налево!) — и бежит навстречу лагерфюреру (начальнику лагеря) доложить о наличии в лагере заключённых.

Удивительно, что такая огромная масса людей выполняет все команды одновременно и чётко: единый стук каблуками, единый одновременный поворот головы, единый хлопок митценом о ногу.

Нечётко выполненную команду рапортфюрер заставляет повторить, а может и наказать весь лагерь или отдельный блок несколькочасовой тренировкой после вечернего аппэля. Но, в отличие от вечернего, утренний аппэль длится, как правило, недолго. Если «цифра сходится», звучит команда «Вольно!» и «По рабочим командам разойдись!»

На 2-3 минуты плац превращается в людской муравейник, чтобы преобразиться в колонны рабочих команд.

Полтора десятка новичков, и меня в том числе, штубовый лично отвёл к месту построения команды «Вальд-П» («Лес-П»). Переписав номера, нас поставили в строй, напомнив, как надо проходить через Брам, чтобы не быть наказанными.

Одна за другой рабочие команды по вызову направлялись к Бrame. По обе стороны проёма стояли по несколько эсэсовцев с дубинками и зорко следили за прохождением. Через Брам полагалось проходить строевым шагом с высоко поднятой головой, прижатыми к бёдрам руками, строго соблюдать равнение в затылок и по рядам, чтобы удобней было нас пересчитывать. Ко всему этому надо было ещё и выполнить на ходу команду «Митцен аб!»

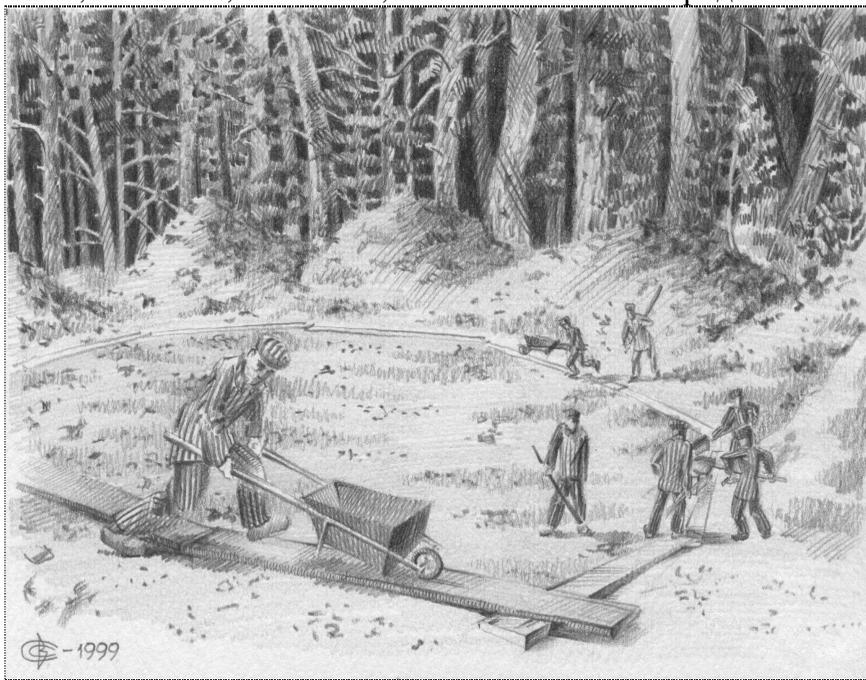
Брама осталась позади. После команды «Митцен ауф!» все немного расслабились и перевели дух. Но идти в сопровожде-

нии плотного конвоя с собаками было неуютно, а в обуви на деревянной подошве без привычки ещё и неудобно.

Путь оказался неблизким. Сразу за лагерем свернули налево и несколько минут маршировали вдоль забора, а за коттеджами, что стояли справа среди высоких сосен, свернули в лес и шли ещё минут сорок.

На одной из полян остановились. Вокруг — кучи песка и грунта. Рядом под небольшим навесом — наши орудия труда: лопаты, кирки, ломы, тачки. Чуть в стороне — небольшая фанерная будка фотоработника. Его подручные с зелёными и чёрными винкелями, и непременно с палками, разбивают нас на группы и вручают кому что. Мне досталась тачка.

Команда «Вальд-II» готовила площадки для строительства барачков. Это — рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, планировка грунта. Все работы выполнялись исключительно вручную. За темпом работ наблюдали подручные фотоработника, орудия палками. Постоянно подгоняя, они нещадно били по спине, по голове, по плечам, по ногам — по чём придётся.



1942 г. Заксенхаузен. В команде «Вальд-II».

За тачкой заставляли не ходить, а бегать. Двое заключённых с лопатами быстро её наполняли, а мне следовало по проложенным доскам доставлять сей груз к отвалу и бегом возвращаться обратно. Тачка была неуклюжа и для меня тяжела. Опыта работы с тачкой у меня не было, она часто скатывалась с доски, и за это на меня обрушивалась серия палочных ударов.

Ещё до обеда я почти выдохся. А обед не прибавил сил. Пищу раздавали выборочно, обделяя новичков. Одним набирали по полному с верхом черпаку супа, а другим — только по половине. Кому давали по 10 картошек, а кому — по 5-7. Почти всем новичкам, и мне в том числе, не дали порционных. Якобы «оштрафовали» за плохую работу. А порцион — это два ломтика хлеба: слегка намазанные маргарином, и кружочек ливерной колбасы.

С трудом дотянув до вечера, я твёрдо решил завтра не ждать, когда мне вручат тачку, а самому устремиться к лопатам. Говорили, что с лопатой работать легче.

На следующий день я так и сделал. Но оказалось, что и лопата «не мёд». Большими совковыми лопатами заставляли набирать грунт с верхом и бросать часто. Я, собственно, так и делал, но быстро выдохся.

В обед ко мне подсел рядом работавший немец с красным винкелем:

— Глюпо работаешь! Надо работать не руки, а глаз!

Я понял, что мне следует не столько махать лопатой, сколько следить за тем, в какую сторону глядят глаза надсмотрщика. Коли не в мою — держать наготове лопату с набранным грунтом. При повороте его головы в мою сторону — интенсивно трудиться.

Впоследствии я эту технику хорошо освоил. Как говорят на Украине, «нема дурних!»

Перепробовав все инструменты, включая кирку и лом, я понял, что с лопатой работать лучше всего. Однако никакие ухищрения не избавляли меня ни от тяжёлой работы, ни от побоев. Я возненавидел «Вальд-II» и с обречённостью смотрел на своё будущее, полагая, что все команды в Заксенхаузене одинаковы. Оказалось — нет.

Блуждая после ужина по лагерю и прислушиваясь к разговорам, я узнал, что в Заксенхаузене существуют и хорошие команды, где работа полегче, и бьют поменьше.

Первой меня привлекла команда «Гундэрцвингер» (собачий питомник). Говорили, что в этой команде работа как везде, но порции — «горбушки», и можно пожить с собачьим супом, в котором не только кости, но и куски мяса. Я знал, что самовольно менять команды строго запрещено, и поинтересовался, как в неё попасть. Ответили, что запросто. Надо после аппэля подойти к команде и выдать себя за новичка. Если не прогонят — можно считать себя принятым. Немного походить, пока привыкнут и переведут. Многие, мол, так делают.

На следующее утро я устремился к «Гундэрцвингер». Меня не прогнали: записали номер и поставили в строй.

Миновав лагерь, мы вошли в лес и по диагонали вправо дошли почти до канала. По неистовому лаю собак я догадался, что прибыли на объект. Собачьи вольеры за высокой металлической сеткой находились метрах в пятидесяти в кустах. Справа от них виднелись канал, пришвартованная к берегу баржа и куча брёвен на берегу около неё. Над нами колыхались высокие корабельные сосны. Их нашей команде предстояло свалить, обработать и вынести. Соответственно нас и разбили на группы: кому сосны валить, кому сучья обрубать, кому распиливать комли на дрова и деловую древесину, а кому брёвна выносить из лесу. Корчеванием пней, засыпкой ям, погрузкой брёвен на баржу занимались советские военнопленные, пришедшие на «Гундэрцвингер» вслед за нами.

Мне досталась выноска брёвен. Группой из восьми человек бревно поднималось себе на плечи и выносилось к указанному месту. Нести бревно требовалось бегом или, хотя бы, имитируя бег. На неровностях грунта тяжесть бревна перемещалась на несколько человек, те падали, бревно ронялось, подбегал разъярённый надсмотрщик и лупил палкой до тех пор, пока бревно снова не окажется на плечах. И так целый день.

Еду в обед раздавали, как и на «Вальд-П», обделяя новичков. Порции были не «горбушки», а обыкновенные, как везде, и достались они не всем. Мне, например, — нет. А соба-

чий суп был «не про нас»: за собаками ухаживали исключительно военные. К вольерам нам нельзя было подходить даже близко. Какой уж тут суп! Ко всему прочему, форарбайтер «Гундэрцвингер» оказался неуравновешенным психопатом. Находясь в своей будке, он время от времени оттуда выскакивал и бил палкой всех, кто попадёт ему под руку, с нечеловеческим остервенением.



*1942 г. Заксенхаузен. В команде «Гундэрцвингер».*

Очень тяжёлая, непосильная для моего возраста работа, побои, крики надсмотрщиков, постоянный лай собак и психфорарбайтер создавали постоянно стоявший в ушах шум, парализующий мышление. И я сказал себе: «Сюда я больше не ходок!» И на следующий же день возвратился на «Вальд-II».

Однако поиски «хорошей» команды я не прекращал, периодически сбегая и вновь возвращаясь на ненавистный мне «Вальд-II», где единственная бригада, в которой можно было нормально работать — это бригада из стариков и доходяг, расчищавшая маленькими топориками просеки в молодом сосняке. За зарослями они могли скрываться от глаз начальства и, не

имея нормы выработки, собирать ягоды, грибы, съедобную траву и коренья, чтобы набить ими свой желудок и утолить голод. Мне удалось в этой бригаде побывать дважды, а на третий день меня отправили к лопатам.

Следующей «хорошей» командой стала «Вальд-I». Мне сказали, что эта команда лучше, чем «Вальд-II». И я поверил. «Вальд-I» строила бараки и укомплектовывалась преимущественно специалистами: плотниками, столярами, малярами, сантехниками, электриками и т.д. Но нужны ей были и грузчики, и землекопы. Меня направили на разгрузку цемента. У грузовика мне на плечи взвалили 50-килограммовый мешок с цементом, и я за 20 или 25 метров относил его в штабеля. С мешком заставляли бегать, подбадривая палками. В обед едой обделили, порции не дали. К концу дня очень болели ноги, ныли от мешков плечи и спина от побоев. Мне здесь не понравилось, и я возвратился на «Вальд-II».

Частенько я задерживался у блоков, где музицировали, и слушал музыку. Однажды среди слушателей я встретил знакомого. Мы вместе с ним прибыли из Лецкау в Заксенхаузен. Разговорились. Оказалось, он работает на кухне картофельшеллером (чистильщиком картофеля). Я удивился. Само слово «кухня» будоражило наши головы. И я загорелся желанием тоже попасть на кухню с далеко идущими планами попытаться задержаться там подольше. Мне удалось утром пристроиться к команде «Кюхэ», и я с трепетом переступил порог этого заветного здания. К нему не разрешалось даже подходить без надобности, а зевак, любителей поглазеть, бесцеремонно отгоняли. А я, как бы на законном основании, нахожусь на первом этаже кухни и созерцаю рядом стоящие большие котлы и важно прохаживающихся около них поваров в белых колпаках и халатах, помешивающих длинными деревянными вёслами.

Приятное зрелище, и пахнет вкусно. Но нас спускают в подвал и по 8-12 человек усаживают за продолговатые деревянные корыта, наполненные водой. Ждём распоряжений, что чистить. Мне хочется, чтобы это была морковка или кольраби, пусть даже брюква, только не картофель. Но чистим именно картошку. Мне, никогда ранее не державшему в руках карто-

фельшеллер (нож для очистки кожуры), помогают овладеть им соседи по корыту.

Если картофеля требуется немного, то работаем неторопливо, спокойно. Между рядами корыт медленно похаживает наш шеф — пожилой фельдфебель в очках, — отпуская шутки. Он не злобен, знает немного русский, часто затевает разговоры с новичками русской национальности. При появлении начальства наш фельдфебель моментально преображается: покрикивает, подгоняет, сторожится. Но мы и так стараемся не подводить нашего «старикашку».

Если картофеля требуется много — объявляется «аккорд» (нечто наподобие соревнования между корытами). Победившие всем корытом получают приз — каждому по миске супа.

Когда чистим морковку или кольраби, в подвал на помощь фельдфебелю спускается офицер с несколькими рядовыми ээсовцами. Они снуют между корытами, покрикивают на нас, бьют жующих, приговаривая: «Никс фрэссэн!» (Не жрать!). Но, невзирая на строгости, мы таки умудряемся набить свои животы овощами так, что становится тяжело дышать.

Обед картофельшеллерам выдавался обыкновенный, в соответствии с нормой, без каких-либо добавок и порционов. Но мне эта команда понравилась: и крыша над головой, и пожевать всегда что-нибудь найдётся.

На кухне мне удалось продержаться недели полторы. Я уже считался здесь почти своим и готов был задержаться надолго, если б не случай.

Однажды в подвал спустились три офицера. Они медленно прошли вдоль корыт, внимательно всматриваясь в физиономии, и, выборочно записав несколько номеров, удалились.

Я поинтересовался у соседей по корыту, что это было.

— Так отбирают на «транспорт» (этап) в другой лагерь, — ответил один из соседей.

В другой лагерь мне не хотелось. Другого лагеря я боялся — не было бы хуже, чем здесь.

Мне уже было известно, что «картофельшеллеры» комплектуются из неработающего резерва и «шонунгскранкэ» (освобождённые от тяжёлого труда по болезни). «Шонунгскранкэ»

— небольшого формата «цэттэль» (листок), нечто наподобие нашего «больничного листа», выдававшийся на 3, 8 или 14 дней с обязательным привлечением к лёгкой работе на кухне, в 17-м блоке на «заклёпках» или в собственном блоке.

В общем, «картофельшеллеры» служили потенциальным резервом для «транспорта». Это и заставило меня немедленно покинуть кухню, и на следующий день я возвратился на «Вальд-II».

Однажды, после вечернего аппетита по дороге в свой блок я заметил недалеко от кухни группу заключённых, получавших полный лагерный обед. Поинтересовался. Выяснилось, что это — команда «Хайнкель». На рабочем объекте их кормят обедом из местной солдатской кухни, а вечером — отдают лагерный. Насчёт солдатской кухни возможно и враньё, но то, что команда получает по два обеда в день — так это уж точно.

На следующий день я уже стоял в колонне «Хайнкелькоммандо». На рабочий объект нас доставили на грузовиках. Ехали через Ораниенбург. Из-за борта автомобиля удалось немного посмотреть на вольную жизни горожан и позавидовать им.

Команда «Хайнкель» участвовала в строительстве самолётов и комплектовалась преимущественно специалистами, но нуждалась и в непрофессиональных рабочих, таких как я.

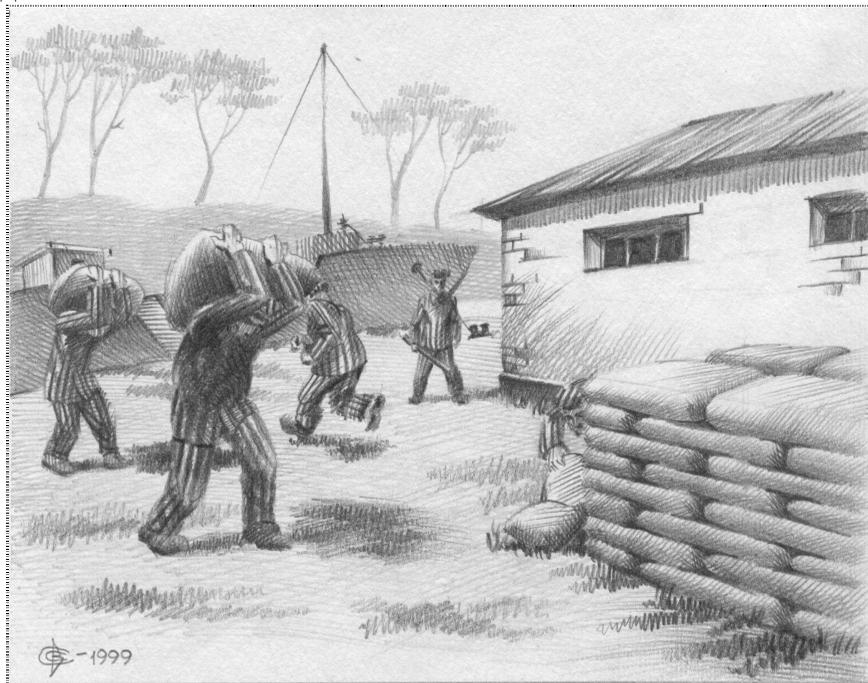
По прибытии на место меня направили на разгрузку баржи с цементом. Работа нелёгкая, но здесь не подгоняли и не били, как на «Вальд-I». Спокойно доработав до обеда, получил еду: гороховый суп и «мундирку» с капустной подливой. Порцион выдали всем.

После обеда, закончив разгрузку баржи, мы больше ничего не делали. Наш надсмотрщик велел спрятаться за штабелями и не показывать оттуда нос до конца рабочего дня.

Возвратившись в лагерь, я получил свой лагерный обед, о котором не переставал думать весь день, и, добавив к нему ещё и ужин, впервые за несколько месяцев наелся.

На второй день меня отправили на аэродром строить бетонированные дорожки. Приготовление раствора и его укладка в дорожки производились вручную. Работа не из лёгких, на нас покрикивали надсмотрщик и конвой, но не били. Во время ра-

боты мы поочерёдно «отдыхали» в туалете. Часто после обеда нам приносили из солдатской столовой слегка прокисший гороховый суп и разрешали есть, кто сколько хотел. Иногда попадался конвой, требовавший работать не «шнэль», а, наоборот, «лянгзам, иммер лянгзам» (медленно, неспеша) — чудеса, да и только!



*1942 г. Заксенхаузен. В команде «Хайнкель».*

Примерно через неделю, покончив с дорожками, я оказался на строительстве ограды будущего лагеря. Копал ямки для столбов, разматывал мотки колючей проволоки, подносил столбы к ямкам.

Команду «Хайнкель» я считал хорошей. Но как только узнал, что она будет переселена в лагерь, который помогаю строить — немедленно её покинул. Перебираться сюда из Заксенхаузена я не хотел.

И вот я опять хожу на работу в «Вальд-II». Опять рыскаю по лагерю в поисках хорошей команды. На этот раз поиски затянулись. Приближалась зима. Хотелось найти команду, работавшую в тепле, с крышей над головой. Я интересовался всеми

внутрилагерными и окололагерными командами. Некоторые из них не подходили мне, некоторым — не подходил я.

Команды «Пфэрдэшталь» (конюшня), «Швайнэшталь» (свинарник), «Блюмэнгартэн» (оранжерея) и т.п. отпали сразу. Там работали специалисты-профессионалы, преимущественно немцы. В некоторых окололагерных командах не удовлетворяли условия:

«Гольцплац» (дровяной двор) — занималась заготовкой дров для печек-«буржук», обогревавших блоки. Она работала на открытом воздухе без порционных. Служила постоянным резервом на «транспорт».

«Шугфабрик» (обувная фабрика) — занималась поисками золота и драгоценностей, запрятанных в обуви. Новая добротная обувь разрывалась на части под недремлющим оком «СС». Команда часто обыскивалась, была объектом пристального внимания и резервом на «транспорт».

«Рольвагэн» (телега на резиновых колёсах, похожая на автоприцеп) — это о ней после войны писали газеты, как «...несчастные заключённые, впрягшись в телеги, как лошади, и, подгоняемые палками, перевозили непосильный груз...» В действительности же, это была одна из престижных лагерных команд. И попасть в неё было непросто. Форарбайтер у них, конечно, имелся, но никто никого там не бил. «Рольвагэры», в самом деле, по 10-12 человек при помощи специальных шлей впрягались в телегу и в пределах лагеря развозили различные грузы: продукты питания, овощи, одежду, бельё, топливо, мусор — всё, что требовало перемещения. Все «рольвагэры» были дружны, сыты, хорошо одеты и обуты, упитаны, заносчивы и высокомерны. Я запомнил только один-единственный «Рольвагэн», укомплектованный русскими. Если бы писаки хоть раз посмотрели на их лоснящиеся от жира лица, презрительно-высокомерные взгляды на своих же русских — они бы иначе писали об этих «мучениках». На остальных «Рольвагэнах» «мучились» преимущественно немцы, единицы французов и чехов, чуть больше — поляков.

Я бы очень хотел запрячь себя в одну из «рольваг», да «не дав Бог сви́ні роги» — меня не брали.

А вот о внутрилагерной команде «Шугляуфер» газеты писали правильно. В эту команду приглашали всех желающих получить порцион. Но мало кто соблазнялся, а соблазнившись — потом каялся. Поэтому штатными в этой команде были штрафники. Они обувались в новые ботинки и целыми днями маршировали и бегали, подгоняемые палками форарбайтера по специальной дорожке, имитирующей различные профили дорог: бетон, асфальт, грунт, песок, глина, вода, щебень, брусчатка, трава. К концу дня ботинки отбирались и отправлялись на лабораторные исследования. Естественно, что в эту команду я попасть не хотел.



*Заксенхаузен. Команда «Шугляуфер» (испытатели обуви).*

В 1942 году по лагерю маршировала странная группа русских, распевавшая: «Эх, махорочка-махорка! Породнились мы с тобой...» Говорили, что это будущие власовцы, навербованные из лагерей советских военнопленных. Песня о махорке так всем надоела, что заключённые-немцы спрашивали: «Неужели русские не знают других песен?» В «махорочники» меня тоже не тянуло.

В 15-м блоке жили музыканты духового и симфонического оркестров. Говорили, что им хорошо живётся: «Играют себе и получают порции». Я бы тоже хотел быть с ними, но, увы, кроме как бренькать по слуху на балалайке, ни на чём играть не умел, и нотной грамоты не знал. Лагерные оркестры прекрасно обходились без меня музыкантами-профессионалами, собранными со всей Европы.

Работая на «Вальд-П», я всё больше хирел и опускался. Изнуряющая работа, побои, постоянный голод быстро превращали меня в «мусульмэна» (доходягу), конец пути которого — крематорий.

Остановиться и взять себя в руки помог случай. Осенью 1942 года в Заксенхаузене организовали малолетний блок для детей до 16 лет включительно. Мне было 16. Перевод в малолетний блок вселил в меня надежду на лучшее будущее.

Кроме плохой тяжёлой команды меня донимали ещё и существовавшие в 65-м блоке порядки. Так же, как блоки 67 и 68, он был заселён русскими, исключая блоковое «начальство». Неприятно признавать, но кличку «русишэ швайн» мы в какой-то мере оправдывали своей ленью, необязательностью, неряшеством, руганью, драками, воровством, недисциплинированностью — качествами, которые немцы так не любили.

Блоковому, штурбовому, старостам столов — ответственным за порядок в блоке — приходилось для наведения элементарного порядка наказывать весь блок по принципу «круговой поруки». От этого страдали все, но немногие каялись. Поэтому в нашем блоке практиковались частые «блокшпэры» (запрещение покидать блок в личное время и в выходные дни), длительные простаивания около блока, невзирая на плохую погоду, «шпортмахэн».

Я всегда с радостью поменял бы не только ненавистную мне «Вальд-П», но и блок, в котором жил. А тут как раз под вернулся такой счастливый случай!

Однако рано я радовался. Малолетний блок оказался для меня ещё хуже, чем 65-й. Все дети были исключительно русскими, и ничто «русское» было им не чуждо. Те же неряшество, воровство, ругань, драки, а вдобавок ещё и шкодничество,

ябедничество, подсиживание просто так, для развлечения. Крики и визги 7-10-летних пронизывали до мозгов. Все гадости исходили от младших, а расхлёбывать их приходилось старшим. Младшие освобождались от дежурств по блоку, и все работы по самообслуживанию доставались старшим. Особенно донимали «Эссэн голен» (доставка еды из кухни). Этим занимались одни и те же, в том числе я, как старший и один из самых высоких в блоке.

Не знаю за что, но немцы любили детей маленьких, пухленьких, круглолицых. Их баловали, подкармливали, ласково называя «кляйнэ пиппель» (малютки). Но высоких, худых, долговязых ненавидели, презрительно называя «ду лянгэ» (длинный). Таким «ду лянгэ» был и я.

Малышей форарбайтеры забирали к себе в команды калифакторами (наподобие денщиков). Старшие, типа «ду лянгэ», работали наравне со взрослыми в тяжёлых рабочих командах. Малыши, даже в тяжёлых командах, жили безбедно, поедая конфискованные порции и недоданные старшим и взрослым порции обедов.

Из-за беспорядков, устраиваемых малышами, мы, как и в 65-м блоке, часто простаивали «на свежем воздухе», страдали от «блокшпэр» и «шпортмахэн».

А блоковый малолетнего мне не понравился сразу. Очень высокий, худой, с маленькой головой на длинной шее, одетый в русскую шинель, с чёрным модным митценом на голове и добротными кожаными ботинками на ногах, он, несмотря на свой красный винкель, показался мне злым человеком, не любящим детей. В первый же день к нему прилипла кличка «Каланча». Говорил блоковый тонким писклявым голосом так быстро, что из всего, что он говорил, можно было разобрать только часто повторяемое им слово «юнгс» (юноши).

Сегодня, спустя пятьдесят с лишним лет, его можно и понять, и даже оправдать многие действия. Но тогда я до таких понятий ещё не дозрел. Вероятно потому, что мне, как самому старшему в блоке, «доставалось» больше всех.

Блоки в Заксенхаузене всегда выстраивались по ранжиру, и каждый знал своё место. Рядом со мной всегда стоял 16-летний

Юра, самый высокий, худой подросток, за свой рост прозванный «Дылдой». Мы с ним часто переговаривались. Я жаловался на свою рабочую команду, и оба мы проклинали свою нелёгкую судьбу. Юра посоветовал мне побывать на команде «Шпэрр», где он работал и был вполне доволен. Я решил попробовать. Это была самая большая команда в Заксенхаузене. Она трудилась сразу же за мостом через канал. Вдоль берега беспорядочно валялись ящики, мотки проволоки, огромные бухты кабеля, различные металлические изделия, железные бочки и много другого трофейного хлама. Всё это добро команда сортировала, упаковывала и куда-то отправляла баржами, поездом и грузовиками.

Но в этот день мне не повезло. Прибыла баржа с песком. Разгружать её были отправлены все новички, и я в том числе. Немцы бегали около баржи и кричали: «Кис, кис бэкомэн!» (песок поступил), требуя срочной разгрузки.

Привычно взяв в руки лопату, я приступил к работе по методу «работая не работать», которым уже достаточно хорошо владел, по совету немца из «Вальд-II». Какое-то время это удавалось. И всё было бы ничего, если б нам на подмогу не прислали штрафников. За двумя форарбайтерами одновременно я уследить не мог. Форарбайтер штрафников, за которым я не следил, как за «чужим», заприметил, что я «сачкую», подбежал ко мне, выхватил из рук лопату и принялся меня ею лупить, да так, что поломал об меня черенок. Отвесив ещё несколько подзатыльников, он ушёл к своим, а я рухнул на песок. Было трудно дышать и двигаться. Мой форарбайтер распорядился отнести меня к телеге, на которой перевозили порции, доходя и умерших на работе. Возле её колёс я так и пролежал до окончания рабочего дня. Правда, в лагерь плёлся на своих двоих, проклиная «Шпэрркомандо».

На следующий день я снова был на «Вальд-II». Оправившись от побоев, я не прекратил поиски приключений. На этот раз я соблазнился командой «Гэртнавизэ» (огород). Сказали, что там морковки, кольраби и капуста — ешь, сколько хочешь, лишь бы выдержал живот. Это была сезонная команда, и попасть туда осенью не составляло труда. Огород находился не-

далеко от лагеря, слева от дороги, ведущей на «Шпэрр».



*1942 г. Заксенхаузен. В команде «Шпэрр».*

На огороде офицер — шеф команды — нас предупредил: «Нихт фрэссэн! Нихт гэштолен! (не воровать!) Найдём при обыске — не поздоровится!» Мы его внимательно выслушивали, но и ели, и воровали. В лагерь преимущественно выносились картошка. Её можно было сварить или на что-нибудь обменять. Для этой цели я специально выменял немецкую шинель с подкладкой, служившую мне мантилем (пальто из полосатой ткани). Продырявив карманы, я через дыры набрасывал картофель под подкладку. При обыске карманы выворачивались наизнанку, а полы шинели широко распахивались. Упрямый за подкладку картофель при этом оставался незаметен.

Но однажды я всё-таки попался. И прямо возле самой Браммы. Наверно, излишне перегрузился. Когда обыскивающий офицер ко мне приблизился, привычным жестом я вывернул карманы и распахнул шинель. Но офицер заметил, что полы шинели как-то неестественно отвисают. Потрогал, приподнял, укоризненно на меня посмотрел и произнёс: «Юнга, юнга,

юнга!» (в значении: «молокосос») и, чуть погодя, тихо добавил: «Гау аб, мэнш!» (пошёл прочь!). Я поплёлся на аппэль, поклявшись больше на «Гэртнавизэ» — ни ногой.

Между тем, жизнь в малолетнем блоке становилась всё более невыносимой. Мне в нём было намного хуже, чем в 65-м. Там, среди взрослых, я был малолеткой. Здесь, среди малышей, считался взрослым. Поэтому я был несказанно рад, когда меня, неизвестно почему, перевели вдруг в 25-й взрослый блок.

После всех предыдущих этот блок показался мне «раем». Тихо, спокойно, чисто, нет палок и понуканий, нет долгостояний около блока. Очередник на добавку получает специальную дощечку с надписью «Нахшлаг» (добавка) и выставляет её напротив себя при раздаче пищи. И блоковый понравился: небольшого роста, щупленький, в очках, интеллигентного вида человек с красным винкелем разговаривал с нами спокойно, никогда не повышая голоса и не угрожая.

Прежде весь 25-й блок был немецким. Теперь его немного «разбавили» разными национальностями: французами, чехами, поляками и русскими. Однако по духу он всё равно продолжал оставаться немецким, где «Орднунг (порядок) прежде всего!»

Немцы, сидевшие со мной за одним столом, были вежливы, проявляя сочувствие к моему голодному взору и дистрофическому виду, понемногу начали меня подкармливать. Я воспрянул духом и ожил, стал за собой следить, уверовал, что не всё ещё потеряно.

25 декабря 1942 года блок праздновал «Вайнахтэн» (Рождество). Стены украсили сосновыми ветками. На одном их столов — маленькая ёлочка. На столах — разнообразная еда. Мы все — за столами. Блоковый накануне праздника предложил «имущим» поделиться продуктами с «неимущими» — с теми, кто кроме лагерного пайка ничего не имеет, чтобы они не чувствовали себя обездоленными. И «имущие», в основном немцы, щедро откликнулись на призыв блокового, поделившись, чем могли. Поев, немцы запели «О, танэнбаум» (о ёлке), что-то про «Гаймат» (родину), потом пели «... дас гейт аллес, форрибер, дас гейт аллес форбай» (всё течёт, всё меняется), а уж песню «О, майн либер Августин, Августин, Августин» подпевали и

мы, русские. Такое не забывается! Я до сих пор вспоминаю этот день.

А 1 и 2 января — опять праздник, Новый год. Нас не водили на работу и в честь праздника в обед на второе дали мясной гуляш с «зальцкартофель» (чищенной картошкой). Кстати, гуляш с чищенной картошкой давали во все праздники, включая 1 мая, отмечая его не как день солидарности трудящихся, а просто как праздник Весны. Не знал и не думал, что немцы празднуют 1 мая!

Не водили нас на работу и в дни траура по разбитым войскам Паулюса под Сталинградом зимой 1943 года.

И всё бы ничего, да примерно в конце января, делая во время ужина объявления, блоковый неожиданно назвал мой номер. Сразу я не расслышал, но сосед толкнул меня в бок:

— Чего не отзываешься? Твой номер!

— Зекс унд фирциг айнс фир унд фынфциг! (46154) — повторил блоковый.

— Гир (здесь)! — откликнулся я.

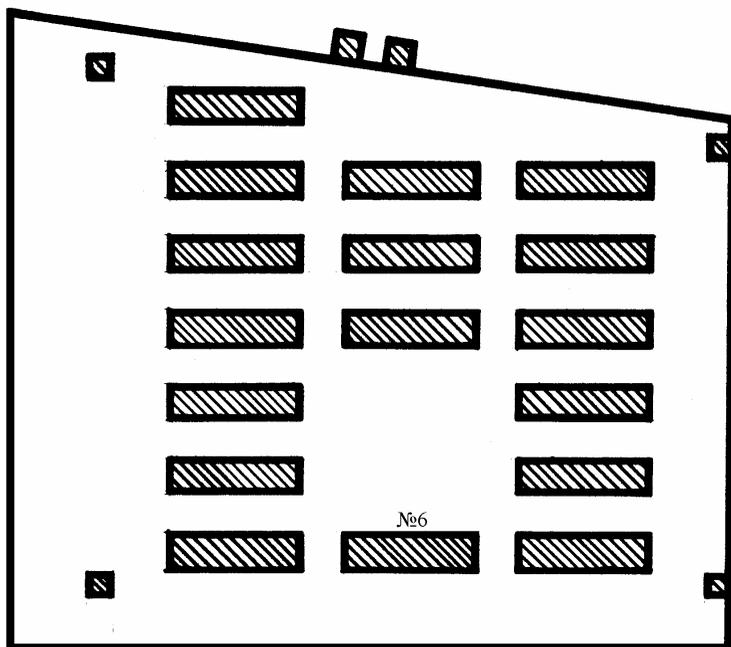
— Морген фри (завтра утром) сдать посуду, постель, и после аппэля с вещами к Браме! Ты переведен на «Клинкер» (кирпичный комбинат).

Услышав это, я обомлел, не поверив своим ушам: только начала налаживаться моя жизнь — и вдруг «Клинкер»! Немцы моего стола сочувственно закивали головами. Но делать нечего. Утром меня увезли на «Клинкер».

Когда-то, чтобы не тратиться на ежедневные перевозки и маршировки заключённых рабочих команд из Заксенхаузена, при «Клинкере» построили лагерь. Из-за тяжёлой работы, нечеловеческих бытовых условий и зверского обращения его окрестили «концлагерем в концлагере», сделав пугалом для заключённых Заксенхаузена. Чуть что — угроза «Отправка на «Клинкер»!»

И вот я первый день на «Клинкере», точнее — в его лагере. Мои страдания начались с душа. Раздеться заставили в неотопливаемом предбаннике. Потом загнали под холодную воду. Не дав как следует ни умыться, ни одеться, выгнали во двор и продержали несколько часов на морозе. Непонятно, — зачем

спешили?



*План лагеря команды «Клинкерверк». Под №6 — мой блок.*

В 6-м блоке, куда меня поселили, было очень холодно и неудобно. За столом сидели его обитатели с уставшим, измождённым видом и потухшим взором. Мои новые соузники были неразговорчивы и ко всему безразличны. Здесь в свободное после ужина время не болтались по лагерю, как в Заксенхаузене, а просиживали за столами. На большее у них, видно, не было сил. Да и расхаживать, собственно, было негде. Здесь всё в миниатюре: сам лагерь, его аппэльплац и все его службы.

Здесь не было команд, где можно было бы поживиться чем-нибудь из продуктов питания. Поэтому большинство лагерников довольствовалось лишь нормами лагерного пайка. А ещё — здесь было злое начальство. И спали не на нарах, а прямо на полу при открытых окнах.

Работать мне пришлось в «Тоннгрубэ» (заготовщики глины). В Заксенхаузене всех пугали «Клинкером», а на «Клинкере» — «Тоннгрубэ». В составе команды было человек 20-25.

Большинство — русские. Путь на объект недалёк, но по очень разбитой и грязной дороге, покрытой лужами. Для чего — непонятно, но фorarбайтер заставил нас бежать. Запыхавшиеся от бега, мы остановились возле будки фorarбайтера. Здесь же разобрали лопаты, ломы, кирки и по четыре человека отправились к вагонеткам. Железные вагонетки высокие, лопаты тяжёлые, а глина липкая. Фorarбайтер заставляет набирать глину по полной лопате, вагонетки нагружать быстро и с верхом, а толкать их бегом. Всё это у нас получается не очень. Сырая глина прилипает к лопате, борта вагонетки слишком высоки для того, чтоб её можно было быстро нагрузить, ну а с бегом дело тоже обстоит неважно. По липкой раскисшей глине не очень-то разгонишься, вагонетки часто сходят с рельс на поворотах и на неисправных участках колеи. Сошедшую с рельс вагонетку при помощи бревна и палочных ударов фorarбайтера водружаем на место и толкаем дальше. Не работа, а сущая каторга!



*1943 г. Клинкер. В команде «Тоннгрубэ».*

Чтобы мы не расслаблялись, фorarбайтер заставляет снять мантиль, затем куртку. Остаёмся в нательных рубашках — и

это зимой, при любой погоде. И так постоянно, изо дня в день.

Еда и порциины в обед раздавались форарбайтером выборочно, по настроению и симпатиям. Мне порциины доставались редко.

Иногда форарбайтер куда-то исчезал. Тогда мы немедленно бросали работу и бежали к болоту рядом с карьером. Там росли сладкие водоросли, и было много лягушек. Пойманных лягушек мы тут же раздирали, лапки присыпали солью и сразу же съедали.

В команде «Тоннрубэ» я продержался около месяца. Наступил день, когда форарбайтер от меня отказался, как от непригодного к тяжёлой работе. Тогда меня отвели в команду стариков и доходяг, равнявших молотками проволоку на столе, оббитом железом. От этой «лёгкой» работы очень уставали руки. Надзор за нами осуществлял унтер-офицер. Стоять возле нас на дожде или морозе ему не хотелось, и он уходил греться в стоявший поблизости тёплый цех. Интенсивность наших стараний он определял на слух. Как только молотки начинали стучать реже и тише, он тут же выбегал из цеха, заставлял снимать пальто, куртки. Если не помогало — ударял кого-нибудь прутом. Однако бей — не бей, но если сил нет, то их нет. На одних супах, без порционон, их не наберёшься. К концу дня и трёхсотграммовый молоток кажется пудовым.

Вскоре меня выбраковали и отсюда, определив в более лёгкую команду, работавшую в тёплом цехе. Мы сортировали цветочные горшочки: треснувшие и с дефектами в одну сторону, хорошие — в другую. Здесь мне понравилось. Но и в этой команде я работать был уже не в силах, так как не мог ходить.

Как только форарбайтер увидел, что я руками переставляю свои распухшие ноги через железнодорожные рельсы, он немедленно возвратил меня в лагерь, сказав, что я ему не нужен и ни к какой работе не пригоден. На моё счастье в этот день происходила плановая отправка больных в ревер Заксенхаузена. Когда всех погрузили на автомобили, один из эсэсовцев спросил:

— Унд диэзэ? (А этого?)

— Аух дагин! (Туда же!)

Таким вот образом я возвратился в Заксенхаузен.

В ревире меня осмотрели, но кроме ран на ногах и общей дистрофии, других аномалий не нашли. Раны перевязали, выдали «Шонунгскранкэ» на 14 дней и отправили в мой бывший 25-й блок.

Блоковый встретил меня без энтузиазма и предупредил, что после окончания «шонунга» я возвращусь обратно на «Клинкер», а пока буду ходить на кухню чистить картошку.

Почти все 14 дней я потратил на то, чтобы остаться в Заксенхаузене. Блоковый отказал мне в помощи сразу. Немцы с моего стола пообещали замолвить словечко через знакомых, работавших в шрайбштубе. Но те сказали, что поменять «Клинкер» на Заксенхаузен они не в силах. Вот если бы из какой-либо команды поступил на меня запрос — тогда, возможно, такой перевод и можно было бы устроить. Эта идея показалась мне безнадежной, однако, симпатизировавший мне немец с нашего стола вызвался мне помочь.

Договорившись с форарбайтером, он взял меня с собой в команду. Мы зашли в большой барак, сплошь уставленный деревообрабатывающими станками. Вокруг лежали деревянные детали и заготовки. Форарбайтер подвёл меня к сверлильному станку, показал, как его включать и выключать, кое-что рассказал о технике безопасности, а потом показал, как и что я буду делать.

Работа оказалась несложной. Четырьмя свёрлами одновременно надо было просверлить отверстия в деревянной заготовке по готовым разметкам. Убедившись, что у меня всё получается, форарбайтер сразу ушёл. Спустя некоторое время он возвратился и опять тщательно проверил каждую сделанную мною деталь, затем отправился к офицеру — шефу команды «Гольцвэркштетте» (деревообрабатывающие станки), — чтобы доложить обо мне. Тот, проверив мою работу, пообещал за меня похлопотать.

Но из этого ничего не вышло. Офицера «вразумили»: на станок, да ещё и в такую команду, следует взять немца, француза, на худой конец — поляка, но только не русского.

Потеряв всякую надежду на перевод, я очень расстроился и

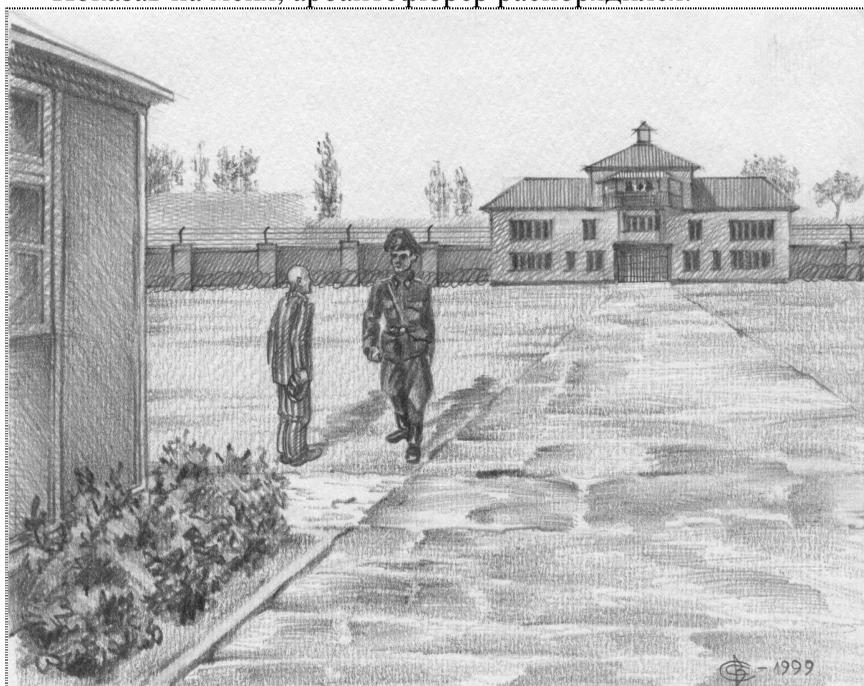
решился на отчаянный шаг — встретиться и поговорить с арбайтсфюрером (начальником трудовых резервов концлагеря) лично. Арбайтсфюрера я хорошо знал в лицо. Он часто навещал шрайбштубу и всегда был на плацу во время аппэлей. Эту должность занимал высокий стройный офицер в чине оберштурмфюрера «СС».

Я его подкараулил и, набравшись храбрости, подошёл, снял митцен, встал по стойке «мирно» и попросил разрешения к нему обратиться. Он удивлённо посмотрел на меня, но внимательно выслушал. Взглянув на мой номер, спросил, где я научился «дойч эрцэлен» (говорить по-немецки). Я ответил, что здесь, в лагере. Потом он ещё меня спросил, откуда я, кто мои родители, за что попал в концлагерь. Я всё ему рассказал. Немного поразмыслив, он кивнул:

— Комм мит! (Пошли со мной!) — мы направились в шрайбштубу.

— Ахтунг! — писаря вытянулись и замерли.

Показав на меня, арбайтсфюрер распорядился:



1943 г. Заксенхаузен. Разговор с арбайтсфюрером.

— Переведите этого заключённого из «Клинкера» в Заксенхаузен и подыщите ему какую-нибудь тяжёлую команду!

Порывшись в своих карточках, один из писарей предложил:

— Филляйх «Гэрцасс»? (Возможно, «Гэрцасс»?)

— Эс гут. Ляс им! (Хорошо, пусть будет)

Поняв, что с «Клинкером» покончено, я просиял от счастья.

— Глюк воль. Канс ду гейн! (Удачи тебе, можешь идти!) — сказал на прощанье арбайтсфюрер. Я поблагодарил его и покинул шрайбштубу.

От радости я был не на седьмом, а на десятом небе. Когда в блоке об этом расхвастался, все удивлялись, как на такое можно было решиться — пойти на разговор с самим арбайтсфюрером! Наверно, я в рубашке родился!

А во время ужина о моём переводе в команду «Гэрцасс» (червовый туз) официально объявил наш блоковый.

Команда «Гэрцасс» своими орудиями труда (лопата, лом, кирка, тачка) и характером работ ничем не отличалась от «Вальд-II». Рыли вручную огромный котлован. Но здесь всё было иначе: ни суеты, ни постоянных криков погонщиков с палками, ни «покушений» на наши порции со стороны форарбайтера. Мы спокойно работали. Форарбайтер, расставив нас по рабочим местам, удалялся, не очень нами в дальнейшем интересуясь. Иногда нами командовал лично главный инженер, вечно копавшийся в двигателе своего трёхколёсного автомобиля.

Работали мы вяло, неторопливо. И конвой часто сдерживал: «Лянгзам арбайтэн, иммер лянгзам!» (Медленно работайте). Почему так было — не знаю, но я и без того не очень-то старался.

В общем, с командой мне повезло, и с блоком — тоже. Но «счастье» моё продолжалось недолго. В Заксенхаузен поступило много норвежцев, шведов и датчан. Их всех решили поселить в 23, 24, 25, 26 и 27-й блоки. Наш 25-й был полностью расформирован. Я попал в 54-й. Здесь было немного похуже: немцев — меньше, русских — больше. Но терпимо. Запомнилась колоритная фигура блокового. Им был небольшого роста,

кругленький, весёлый немец, любивший шутить, по кличке «Банауза» («Невежда»), который к месту и не к месту вставлял это слово. «Альтэ банаузэ мэнш» (старый невежда) было его излюбленным ругательством. Однажды на его шуточку попался и я.

В одно из воскресений, во время обеда, к нам во флигель вошёл «Банауза» и объявил:

— Вэр канн радфагрэн? (Кто умеет ездить на велосипеде?)

Я машинально поднял руку. И «Банауза» сказал:

— Гут. Нахт дем миттаг цу кюхэ кэссэль абголен! (Хорошо. После обеда отнесёшь на кухню бачки!)

В блоке все прыснули со смеху, а мне пришлось тащить бачки. Хорошо, что кухня была недалеко.

Где-то в июле или августе 1943 года я серьёзно заболел. Высокая температура, кашель, насморк, горло. Ясно, что простыл — но в ревир идти побоялся. Верил слухам, что в реви́ре тяжелобольных не лечат, а умерщвляют. И я продолжал ходить на работу до тех пор, пока староста стола — польский фольксдойче, — хорошо знавший русский язык, не обратил на меня пристального внимания и по совету штубового не отправил в ревир насильно, убеждая, что плохие слухи о реви́ре — ложь.

Осмотрев и выслушав, меня немедленно положили в терапевтическое отделение с диагнозом «двустороннее воспаление лёгких».

В палате со мной было четверо. Кроме меня — немец, чех и ещё один русский. Русский был здоров, но продолжал симулировать болезнь, искусственно повышая температуру, ел разную дрянь, чтобы вызвать расстройство желудка и т.п. Немец болел бронхитом. Чех — тоже, но был уже на стадии выздоровления. Я оказался самым тяжёлым.

Первое время я продолжал всего бояться, особенно уколов. Потом успокоился, убедившись, что всё здесь было так, как и в обычных больницах. Ежедневно совершался утренний обход, делались предписания, сдавались анализы, проводилось лечение.

Вспоминаю, как я перепугался, увидев на первом обходе приближающегося ко мне гауптштурмфюрера «СС», оказавше-

гося начальником терапевтического отделения. Он лично меня осмотрел, прослушал и продиктовал способ лечения, окончательно подтвердив диагноз. Мой лечащий врач Борис (из наших военнопленных) всё записал, а наш палатный фельдшер поляк Болек принял меня лечить.

Страхи о ревире прошли сами собой. Мне давали порошки, микстуры, делали уколы, ставили капельницы, банки, регулярно мерили температуру, кормили «диет-зуппэ» (диетическим молочно-вермишелевым супом, который выдавался по предписанию врачей не только в ревире, но и в блоках). Я быстро пошёл на поправку.



*Заксенхаузен. Барак «Ревира».*

Среди соседей по палате самым общительным и внимательным ко мне оказался чех Неедла, бывший журналист из Праги, хорошо знавший русский язык. Немец был неразговорчив, а с русским было не о чем говорить. Чех вёл со мной длительные политические беседы о преимуществах социализма и общественно-коллективной собственности без эксплуататоров. Подробно расспрашивал об СССР, о родителях, вникал в надеж-

ду на освобождение, призывал бороться за жизнь и не сдаваться. На первых порах болезни он помогал за мной ухаживать, а позже — подкармливал, чем мог. Я ему очень благодарен за всё. Добрую память заслуживают и врач Борис, и фельдшер Болек. Они были прекрасными специалистами и замечательными людьми.

Две недели спустя я уже считался выздоравливающим, мыл посуду, ухаживал за больными. Через 21 день меня выписали, вручив «Шонунгскранкэ» на 8 дней.

Этот «Шонунг» я отрабатывал в 17-м блоке «на заклёпках». Хотя, «отрабатывал» — это громко сказано. Большей частью там занимались сплетнями, нежели сортированием заклёпок. Ефрейтор, за нами наблюдавший, часто отлучался, и мы, пользуясь моментом, ничего не делали. Да и при нём не очень-то старались.

По прошествии 8 дней я вернулся на «Гэрцасс». Там ничего не изменилось: заключённые рыли котлован, а главный инженер возился со своим норовистым автомобилем.

Ещё когда я лежал в реви́ре, меня несколько раз навестил мой земляк из Корсуня Миша Раченко, с которым мы бежали из «остарбайтеров» и вместе прибыли в Заксенхаузен. Миша работал на «Вальд-1» и жил в 34-м блоке. В разговоре он как-то сказал, что хорошо бы нам жить в одном блоке, чтобы чаще видеться и не потеряться. Тот, кто из нас останется в живых и вернётся на родину, сможет о нас рассказать. Он предложил через знакомых немцев устроить мне перевод в 34-й блок. Я согласился, подумав, что такой перевод Мише вряд ли удастся. Но спустя некоторое время меня вызвал к себе «Банауза» и сообщил, что я перевожусь в 34-й блок. Теперь мы с Мишей делились ежедневно, хотя и жили в разных флигелях.

Осенью 1943 года на соседние с моими нары штубовый поселил новичка моего возраста, сказав, что привёл мне родственника. Его фамилия — Сиренко. Но новичок оказался не родственником, а однофамильцем, только что прибывшим из Дахау. Мы познакомились. Я расспросил его о Дахау, рассказал ему о себе и о здешних порядках. По мнению однофамильца, разницы между Дахау и Заксенхаузенем — никакой. Однако

после войны весь мир протрубил о лагерях смерти Дахау и Бухенвальде, но почти нигде не упоминали о Заксенхаузене. Да и сейчас о нём мало кто слышал.

С однофамильцем мы общались только в шлафзале, так как сидели за разными столами и работали в разных командах. Я потерял его из виду, когда меня перевели в 44-й блок.

В 34-м блоке мне в друзья набился одноклассник — вертлявый, склонный к авантюрам паренёк. Как-то раз он ко мне подошел и запыхавшимся, возбуждённым голосом спросил:

— Хочешь нажраться и занять пару буханок хлеба впридачу?

— Кто же этого не хочет?

— Тогда пойдём — запишемся у блокового на «Бомбензухен» (команда по извлечению неразорвавшихся бомб)! Работа там не трудная, зато жратвы — будь здоров!

Мне больше не хотелось мыкаться по командам. Но приятель меня успокоил: команда — одноразовая, сходим, не понравится — больше не пойдём. Я жил тогда впроголодь — и согласился. Мы записались. Стали ждать вызова. Долго ожидать не пришлось. Через неделю нас вызвали к Бrame и повезли в Берлин. С нами было ещё два добровольца из других блоков, а всего — четверо.

«Наша» неразорвавшаяся бомба глубоко зарылась в землю в одном из дворов Шарлоттенбурга. Из домов всех эвакуировали, только для нас оставили одну квартиру с хозяйкой. Один конвоир пошёл к ней «калякать» на кухню, второй — остался караулить нас в коридоре. Слышно было, как хозяйка квартиры жаловалась: и продуктов мало, и лимит на электроэнергию понимает, и топить нечем. А муж воюет на Восточном фронте и пишет редко.

Вскоре приехали специалисты. Один из них нас проинструктировал, предупредив, что малейшая ошибка всем нам будет стоить жизни. Принялись за бомбу. Сначала откапывали её вчетвером, потом — по двое, затем, когда показался стабилизатор — по одному. И не лопатой, а дощечкой, и у самого тела бомбы — голыми руками. Страшно было, когда я копался возле бомбы один, хотя инструктор не отходил от нас ни на

шаг.

Бомба выкопана, погружена на автомобиль и увезена военными. Мы собрались в квартире и принялись за еду. В маленьких бачках были суп, картошка, подлива. Ели — кто сколько смог. Оставшуюся картошку рассовали по карманам, суп и подливу вылили хозяйке, а хлеб с порционными забрали с собой.

Вечером в блоке получили ещё и ужин, и таки наелись. Картошкой и хлебом пришлось поделиться, и через день-другой опять наступили голодные дни. Я размышлял: оправдывает ли себя такая вот вылазка на «встречу» с бомбой? А если бы она взорвалась? Увидев безруких, безногих и слепых — бывших «бомбензухеров» — больше в эту команду я не записывался.

В начале 1944 года мою «Гэрцасс» расформировали. Говорили, из-за консервации объекта. Меня направили в команду «Гауптцойгамтвальд» (главное вещевое управление в лесу). Место знакомое. Это были бараки, построенные командами «Вальд-I» и «Вальд-II». Только теперь они назывались бецирками, в них хранилось оружие, боеприпасы и военное снаряжение. Возле бецирков стояли немецкие и трофейные орудия, повозки.

Команда обслуживала эти бецирки. Наверно по традиции, большинство новичков в этой команде проходили через «транспортколонну» — группу из 12-14 человек, обслуживавшую рольваген. Мы эту громадную телегу нагружали, разгружали, тащили, впрягшись в шлеи, развозя грузы по территории «Гауптцойгамта». Основным нашим грузом было топливо: уголь, брикет, дрова. Очень редко — картофель, капуста. Работа была тяжёлая, грязная, и при любой погоде — на открытом воздухе. Мы завидовали работавшим в бецирках. Они не мокли под дождём, как мы. Через месяц меня перевели в бецирк №2, а на моё место поставили очередного новичка.

В бецирке нас было трое: я, бельгиец и пожилой голландец. Командовал нами уже немолодой ефрейтор «СС». Мы складировали «газмаски» (противогазы), когда они поступали, и загружали ими автомобили, когда их отправляли. В ожидании поступления или отправления мы бездельничали.

Голландец, недавно попавший в Заксенхаузен, совсем не знал немецкого и молчал, а мы с бельгийцем вели разговоры. Он много знал, многое повидал, с ним было интересно. Инженер из Брюсселя, он свободно владел многими языками: французским, немецким, голландским, испанским, и английским. Успел побывать во многих странах Европы, в Африке и даже в Америке. Но больше всего он любил свою Бельгию и Брюссель, считая его самым лучшим городом в мире, и часто говорил:

— Виктор, окончится война — если уцелеем, приезжай в Брюссель. Тебе понравится!

Бельгиец жил в блоке для музыкантов и играл на кларнете в духовом оркестре. Он-то и рассказал о жизни музыкантов концлагеря. И я, и многие думали, что музыканты не ходят на работу и только играют. Оказалось, что нет. Они, как и все, ходят на команды, но им подбирают работу полегче. Репетируют они вечерами, а играют по воскресеньям, провожают под духовой оркестр рабочие команды. За каждую игру они получают порцион. А так — довольствуются тем, что и остальные. Я заметил, что быть музыкантом не очень-то выгодно — лишняя нагрузка. Бельгиец возразил: музыка помогает легче переносить реалии быта, отвлекает от тягостных дум.

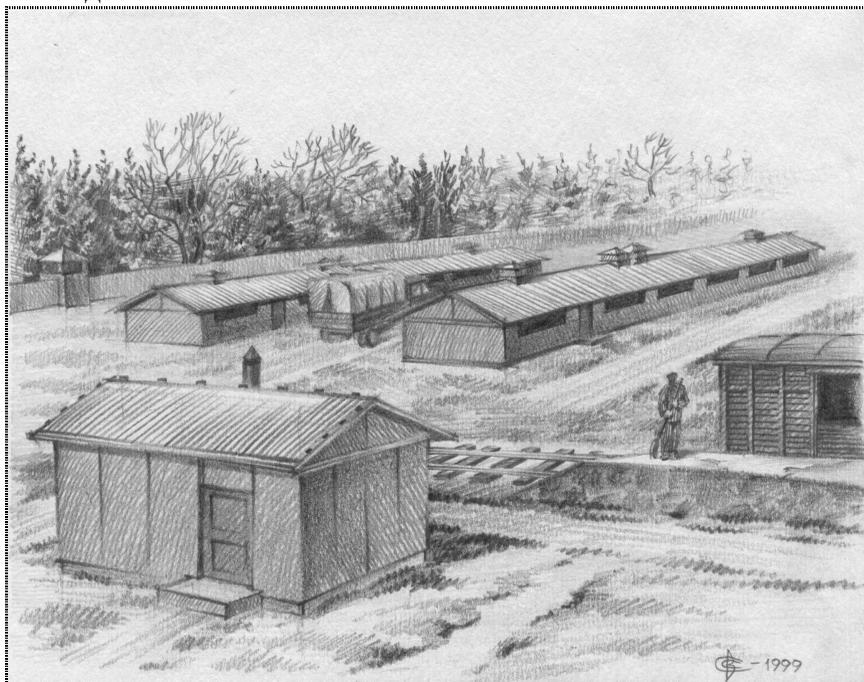
Когда у нас не было работы и возле бецирка не крутилось начальство — наш ефрейтор спокойно дремал, не обращая внимания на наше безделье и разговоры. Но как только оно появлялось — ефрейтор преображался, вскакивал с насиженного места и покрикивал: «Люс, бэвэйгум!» Мы хватались за мётлы и мели и без того чистый пол или перекладывали «газмаски» с одной кучи на другую. Начальство уходило, ефрейтор садился на своё любимое место, а мы с бельгийцем продолжали «чесать языки».

Работа в бецирке считалась хорошей, несравнимой с «Вальд-II» или «Клинкером». Но тут было два недостатка. Зимой в бецирке было холоднее, чем на открытом воздухе (он не отапливался). А ещё — голодно: кроме лагерного пайка здесь ни чем «не пахло». Голод мучил меня постоянно.

Я уже знал, что вместе с нами под одним оцеплением водят

на работу ещё три команды: «Ваффэнвэркштэттэ-I», «Ваффэнвэркштэттэ-II» и «Абладэр Гауптцойгамт». Первые две были оружейными мастерскими, в них работали специалисты по обработке металла, слесаря. Там, как и у нас, кроме порционных ничего дополнительного из продуктов взять было неоткуда. Кроме того, рассказывали, и это было правдой, на «Ваффэнвэркштэттэ» могли запросто повесить прямо в цехе, если испортишь станок или сделаешь брак. Работавших в этих командах мы называли «смертниками».

Другое дело — команда «Абладэр Гауптцойгамт». Говорили, что она, хотя и работает тяжело, но в еде не нуждается, всегда сыта. Последнее меня заинтересовало. И я решил узнать об этой команде поподробнее. Правду о своей команде хорошо могли знать только её члены. С некоторыми я познакомился. Ребята не очень откровенничали, но дали понять, что «нет дыма без огня». Кое-что лишнее из продуктов им достаётся. И я начал действовать.



1944 г. Заксенхаузен. На переднем плане Буда команды «Абладэр Гауптцойгамтвальд».

Первым делом я переговорил с нашим форарбайтером Руди. Выслушав мою просьбу, он пообещал «замолвить словечко», но предупредил, что решать будет форарбайтер «абладэров» Вилли. У Вилли был зелёный винкель и строгий взгляд. Говорить с ним лично я побоялся.

Руди своё слово сдержал, и через неделю-другую он представил меня Вилли. Тот посмотрел на меня и сказал: «Попробуем. Авось, подойдёт». И увёл к себе в команду.

«Абладэры» размещались в небольшом домике из двух комнат возле самой железнодорожной ветки. В маленькой находился сам форарбайтер, а в большой — члены команды, всего 12 человек. В комнате форарбайтера стоял письменный стол, два стула, широкая деревянная лавка для отдыха. В большой комнате, посередине, стояла печка-«буржуйка», вдоль стен — деревянные лавки, у окна — небольшой стол.

Вилли представил меня команде как своего нового калифактора (вроде личного денщика) вместо Алекса, давно прошившегося в грузчики. Всё, что угодно, но стать калифактором при форарбайтере — я даже во сне не мечтал. Слишком престижной была эта должность в концлагере, чтобы я посмел о ней думать.

Однако восторги мои были непродолжительны. Очень скоро я в этой должности разочаровался. Слишком уж много на меня свалилось обязанностей, большую часть которых я выполнять не умел. Подметать и мыть полы, мыть посуду, топить печь, быть на побегушках — это запросто. А вот готовить форарбайтеру пищу, стирать бельё, гладить, чинить одежду я не умел, и душа у меня к этому не лежала. Так что долго я на этой должности не продержался.

Однажды я вываривал бельё, после чего белая майка Вилли стала ещё грязнее, чем была. Вилли очень рассердился: «Юнга, юнга, юнга! Ист я зо майнэ вэшэ фэрзаут!» (Надо же так испортить моё бельё!)

Я испугался, что Вилли меня немедленно выгонит. Но он, к моей радости, просто перевёл меня в грузчики. А на моё место взял нашего грузчика Андрея.

Андрей — из советских военнопленных, младший лейте-

нант, командир пулемётного взвода. В начале войны попал в плен, бежал, был пойман и водворён в Заксенхаузен. Он был женат, имел ребёнка, знал толк в домашних делах, всё умел делать — и Вилли был от него без ума.

А мне было лучше в грузчиках. Грузчики были заняты лишь тогда, когда под разгрузку или погрузку подавали вагоны. Не было вагонов — не было и работы. Мы, не выходя из Буды, занимались, кто чем хотел. Иногда были без работы по несколько дней. Кто хотел — спал или валялся на лавке, кто играл в шахматы, кто приводил в порядок свою одежду или обувь, а кто друг с дружкой просто «трепался».

Но когда подавались вагоны — грузчики работали без понуканий, сноровисто и качественно, не считаясь со временем, для чего объявлялись «командиерт» (командированными), так как возвращались в лагерь очень поздно. Зато командированным выдавался прямо с кухни дополнительный обед.

С едой в команде действительно было хорошо. Порции, в самом деле, выдавались исключительно «горбушками», а обед в бачках всегда был сверх нормы. Кроме того, проводники в вагонах частенько «забывали» картофель, хлеб, муку, растительное масло, колбасу. Всё это мы делили поровну и поедали.

В этой команде я навсегда расстался с постоянным чувством голода. Теперь я мог делиться едой с товарищами, выменял себе «модные» тёмного цвета куртку и митцен, полосатый мантель сменил на тёплую русскую шинель, ботинки на деревянной подошве поменял на кожаные, поправился, поздоровел.

Ребята в команде подобрались дружные. Я всегда о них вспоминаю с теплотой за их участие, за снисходительность ко мне, за науку. Ведь я был в команде самым младшим по возрасту! Они научили меня уму-разуму. Не могу не сказать о них несколько добрых слов, и начну с форарбайтера.

Форарбайтеров концлагерей, капо, блоковых, штубовых редко, а возможно и никто после войны не упоминал добрым словом. Эпитеты: фашисты, мучители, издеватели — прилипли к ним навсегда. Форарбайтеры «Вальд-I», «Вальд-II», «Гундерцвингер», «Клинкер», «Шугляуфер», которых я знал лично, таких эпитетов действительно заслуживают. Но были и исключе-

ния. Такими исключениями были форарбайтеры «Гэрцасс», «Гауптцойгамт», «Гольцвэрштэттэ» и, конечно же, Вилли — форарбайтер «Абладэр Гауптцойгамт».

Вилли носил зелёный винкель, но не был вором. В гражданской жизни он владел небольшим ресторанчиком и подрабатывал в цирке акробатом. В концлагерь попал за налоговые недоимки. Несмотря на свой сердитый взгляд, он был добрым и справедливым. Не помню, чтобы он кого-нибудь из нас ударил. Да и палки у него в руках никогда не было. Провинившихся он по-отечески вразумлял словами, делился с нами жизненным опытом, оберегал от неприятностей, защищал перед начальством.

Вилли и в лагере пытался сохранить форму акробата: постоянно тренировался, выжимался, мог подолгу стоять на одной руке, делать сальто. Для своих тренировок он притащил из лагеря 12-летнего русского паренька Ивана, пытаюсь сделать из него акробата. Но мальчишка оказался тупым и ленивым. Наука не пошла ему впрок, и с Иваном Вилли пришлось расстаться.

Из еды никогда не брал себе больше других, хотя мог это делать, как практиковалось в иных командах. Но он себе этого не позволял. Мы все его очень уважали и жалели, когда Вилли освободили из концлагеря и отправили на фронт.

Кроме Вилли, в команде были ещё два немца. Один из них — райхсдойче, берлинец, очень маленького росточка, по кличке «Кляйнэ Пиппель» (не помню его настоящего имени). Он был у нас штатным прицепщиком, редко находился в Буде, гоняя по территории на автотягаче. «Пиппель» был добродушным, хорошим малым. Его, как и Вилли, освободили из концлагеря и отправили в армию.

Третьим немцем у нас был фольксдойче, «русский» немец. Звали его Амбросий Унрайн, и он считал себя русским, с гордостью носил букву «R» перед винкелем, отказавшись от положенных ему как фольксдойче привилегий. Амбросий был нашим переводчиком. Попав в плен, бежал из лагеря и оказался в Заксенхаузене. Через него мы узнавали все новости: о чём пишут в газетах и говорят по радио.

Обаятельным парнем был Владимир Лобов — москвич, лейтенант Красной Армии, лётчик-истребитель. В начале войны был сбит, бежал из плена и угодил в концлагерь. Очень любил женщин и забавлял нас рассказами о своих любовных похождениях.

Полной противоположностью весёлому и жизнерадостному Володе Лобову был его друг Николай (фамилию не помню) — старший лейтенант Красной Армии, командир роты. Тоже попал в плен, бежал, был пойман. Николай был замкнут и осторожен, всегда предостерегал отчаянных от всевозможных авантюр.

Бывший рядовой Красной Армии Саша (фамилию забыл), внешне скромный и неприметный, за короткое время стал у нас уважаемым человеком и тайной лагерной знаменитостью.

Летом 1944 года «променадники» (лагерные франты) установили моду на широкие брюки-клёш. Для этого в брюки стандартного покроя вставлялись клинья, что было наказуемо. Саша предложил нашему фюорарбайтеру Вилли сшить широкие брюки без клиньев. К таким брюкам никто придишаться не мог, поскольку отсутствовала порча брюк.

Для этого Саше понадобился новый полосатый ментель, иголки, нитки, напёрсток, утюг, закройщицкий метр. Вилли всё это достал и через несколько дней уже щеголял в новых брюках, на зависть «променадникам» и «высокопоставленным» заключённым: старосте лагеря, блоковым, фюорарбайтерам и т.п. Надо отметить, что брюки были сделаны мастерски, сидели на Вилли, как с иголки, швы выглядели — как из-под швейной машинки, хотя брюки шились вручную.

Пошли заказы. На некоторое время наша Буда превратилась в ателье. Новые брюки были пошиты старосте лагеря, некоторым блоковым, фюорарбайтерам и просто знакомым, нужным Вилли, людям.

Начальство взялось за голову: откуда эти брюки? По официальным каналам брюки с широкими нестандартными штанинами в лагерь не поступали. Где же находится эта подпольная мастерская?

Вилли вовремя учуял опасность и велел Саше «лечь на

дно», хорошо запрятав все следы «ателье», чтобы нам всей командой не загреметь в «Штрафкомпани» (штрафная команда). Саше пришлось стать грузчиком, как и мы, о чём он совсем не жалел. Работа «ателье» больше не возобновлялась. Разве что, только для Вилли.

В 1944 году в нашу команду поступил норвежец Мартин, молодой, добродушный, косолапый увалень, среднего роста, хорошо развитый физически, мускулистый. Он всегда выглядел весёлым и бесшабашным. Любил играть в футбол и посещать лагерный бордель. В одну из дам он там влюбился и даже пообещал жениться на ней после войны. Мартин снабжал нас селёдкой, которой наделял скандинавов нашего концлагеря Красный Крест.

Бывший калифактор Алекс (правильно — Алик) — старше меня на один год, русский, из Смоленска, был не по годам развит, начитан, смышлён. Не случайно ему не хотелось кипятить подштанники Вилли. За короткое время проживания в польском блоке он достаточно хорошо овладел их языком и говорил по-польски, как заправский поляк. Это и помогло ему, наверное, единственному русскому на весь Заксенхаузен, побывать в борделе.

Не помню уж точно, в каком году, скорее всего в 1943, в Заксенхаузене открыли самый настоящий бордель. Для этого специально привезли нескольких женщин-заклужённых и поместили на территории ревира. Бордель предназначался для заклужённых всех национальностей, кроме русских. В первую очередь его посетили члены администрации лагерного самоуправления, потом блоковые стали выдавать талоны на посещение по своему усмотрению как бы «за ударную работу и примерное поведение». А позже, когда все «насытились» — всем желающим, кроме русских.

Ещё в 64-м блоке наш «Банауза» ежевечерне объявлял:

— Вэр выльт ин пуф гейн? (Кто хочет посетить бордель?)

Все молчат.

— Кайнэ, вас? Дас ист дох бэссэр, альз виксэн! Ист дас мэншлих! (Что, никто? Это же лучше, чем мастурбировать! Это же по-человечески!)

Но и после такой агитации талоны часто оставались невостребованными.

Из нашей команды в борделе побывали Вилли, Пиппель, а его постоянным завсегдатаем стал Мартин. Бедный Мартин похудел, осунулся, истратился на подарки, но упорно ходил к своей возлюбленной.

Теперь туда собрался наш Алик. Его план был рискован, но прост. Талон на посещение ему даст его друг-поляк. Он же даст ему и одежду со своим номером, расскажет подробно о городе, в котором жил, месторасположение улиц, учреждений, промышленных объектов, достопримечательных мест, чтобы Алик не «засыпался», если его заподозрят в подлоге.

Всё это Алик вызубрил, а подарок даме мы ему приготовили всем миром. И Алик пошёл.

Мы, русские, были осведомлены, что существует бордель, что находится он в реви́ре, но что там и как — мы не знали. Побывав там, Алик нас «просветил».

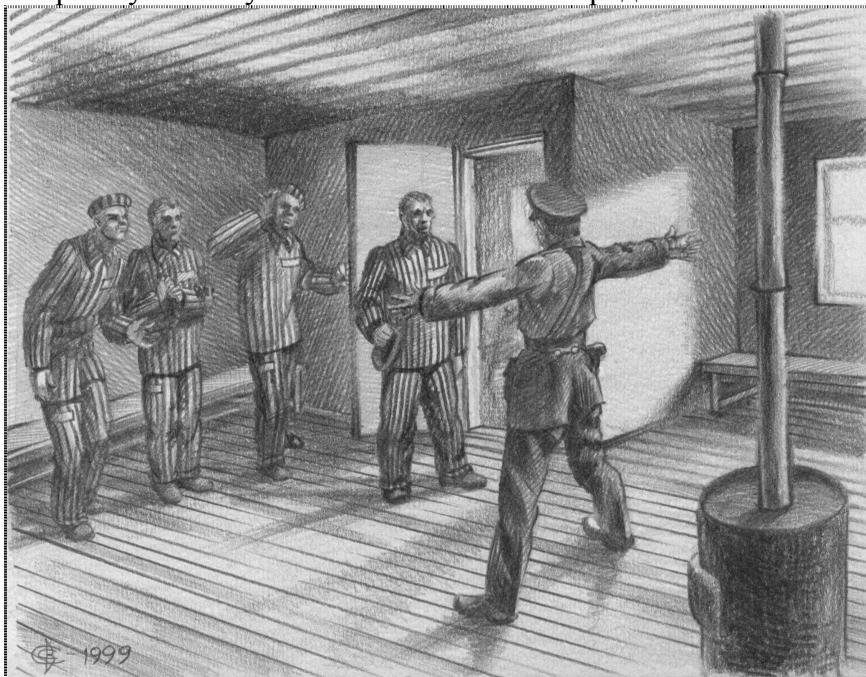
Перед самым входом «на часах» стоял громила-заключённый с чёрным винкелем. В дверях военный потребовал талон на посещение, сверил его с номером и зарегистрировал в книге посетителей. Потом был душ, медосмотр, промывание члена марганцовкой. После этого разрешалось посещение дам. Их фотопортреты висели в коридоре. Заключённые-женщины разных национальностей, кроме немок и русских, согласились на это добровольно из желания выжить. Алик выбрал польку, чтобы иметь возможность с ней пообщаться. Она была из Кракова, немного рассказала о себе. Алик ей врал, как мог. Потом вручил подарок и приступил к «сеансу любви», став в концлагере мужчиной и используя положенный лимит времени. Вот какой был наш русский Алик!

Остальные члены команды, бывшие со мной непродолжительно, мне не очень запомнились.

Однажды к нам в Буду зашёл военный в форме «СС». Кто-то немедленно подал команду «Ахтунг!» Все вскочили, вытянулись. Вилли выбежал из своей комнаты с докладом. Вошедший сделал, было, вид, что внимательно слушает рапорт, но не выдержал, обнял Вилли и повис у него на шее:

— Вилли! Дас бин их, Гайнц! Эркэнст ду нихт мих?  
(Вилли! Это я, Гайнц! Не узнаёшь?)

Теперь уже не только Вилли, но и все старые члены команды: Амбросий, Володя, Николай, Пиппель, Андрей, Алик — узнали Гайнца, своего бывшего коллегу по команде. Год тому назад Гайнца освободили из Заксенхаузена. Теперь он «доблестный солдат фюрера», о чём весьма сожалеет и считает, что в лагере ему было лучше. Война — не «мать родна»!



*1944 г. Буда. Встреча с Гайнцем.*

Гайнц сердечно обнялся не только с немцами Вилли и Пиппелем, но и с остальными: Амбросием, Володей, Николаем, Андреем, Аликом. Достал флягу со спиртом. Собрали на стол кое-какие харчишки, выпили, поговорили, погоревали. Потом мы ему загрузили его вагон и распрощались.

Не могу не вспомнить и не сказать доброе слово и о нашем шефе команды обершарфюрере Сикоре, хоть это и не принято. Ведь «все немцы — фашисты»! Но 40-летний Сикора — высокий, стройный, хорошо владевший польским и русским языком — без преувеличения, был нашим «ангелом-хранителем». Он

знал о нас всё, но никогда не требовал «дурной работы» — например, перебрасывать песок из одной кучи на другую, лишь бы нас чем-нибудь загрузить в отсутствие вагонов. Он только предупреждал: «Смотрите, не попадитесь на глаза начальству!»

Обо всех внезапных проверках он всегда предупреждал Вилли заранее. Тогда мы выходили из Буды (если не было вагонов), брали в руки метлы, лопаты, ломы, грабли; подметали, копали, долбили, гребли, «чистили» и «приводили в порядок» и без того чистую и в порядке подъездную железнодорожную ветку, создавая видимость усердного труда для глаз начальства.

Кто работал в команде «Гауптцойгамтвальд», у того, наверное, до сих пор на слуху повторяемое по радио: «Обершарфюрер Сикора (а чаще — «унтершарфюрер Кенике») софорт цу шраубштубэ!» (немедленно в канцелярию!)

Сикора часто беседовал с Вилли, а нас подбадривал, советуя «не вешать носы», заботиться о своём здоровье, не делать глупостей, пророча скорое освобождение.

Лагерный режим 1944-го резко отличался от режима 1942-го. Постепенное его послабление началось, по моим наблюдениям, уже после поражения немецких войск под Сталинградом, примерно с лета 1943 года. Нежданно-негаданно русских вдруг «зауважали», реже стали употреблять словосочетание «руссише швайн». Хотя на официальном уровне мы продолжали оставаться изгоями. Да мы и сами стали другими, за исключением некоторых — в семье не без урода. Стало очевидным, что не такие уж мы и «швайнэ». Всего за год, с 1942 по 1943-й, русские, не в пример другим, при жесточайшей дискриминации, сумели приспособиться к тяжёлой концлагерной жизни, показали, что они деловиты и талантливы. Сделанные русскими умельцами из подручных бросовых материалов мундштуки, портсигары, ножи, деревянные ложки и сувениры, самодельные зажигалки и прочие поделки бойко раскупались и обменивались. Выяснилось, что русские могут «из ничего сделать что-то», быстрее других национальностей освоить немецкий язык. Среди «руссише швайн» обнаружилось много толковых специалистов, мнением которых не следует пренебрегать. Мы уже не считались «недочеловеками», и это утешало морально. Но

материально, как прежде — голодные и бесправные — продолжали бороться за жизнь, кто как мог.

Лагерное руководство время от времени пыталось вводить некоторые новшества. Например, для «беспалочного» повышения производительности труда попробовали ввести боны (подобие лагерных денег). Боны выдавались в рабочих командах за ударный труд. Предусматривалось их отоваривать в лагерьной кантине куревом или продуктами питания. Но эта затея не прижилась. Кантина быстро опустела, а пополнять её было нечем. Боны обесценились, и их выпуск прекратили. Я так и не получил ни единого бона, хотя имел счастье подержать их в руках благодаря знакомому немцу.

По воскресеньям и в праздничные дни было разрешено играть в футбол. Матчи проводились прямо на аппэльплацу в окружении толпы болельщиков, иногда в присутствии и лагерного начальства. Наш Мартин стал постоянным участником почти всех футбольных баталий.

С 1943 года, наряду с полосатой, разрешили носить гражданскую одежду. Требовалось только на спине пиджака масляной краской нарисовать крест или сделать вставку из иной ткани.

Очень заметным стало фланирование лагерных «променадников» (от французского «промэнэ» — гулять). Тон задавали французы. Они что-то укорачивали, удлинляли, вставляли в брюки клинья, манипулировали с косынками, вставляли искусственные плечики. Блоковым, по распоряжению вышестоящего начальства, то и дело приходилось поправлять «променадников». Но те не сдавались, были упрямы и изобретательны.

Неожиданно поступила команда носить длинные волосы, но с простриженной через всю голову полоской на ширину машинки для волос. Чтобы дорожка была не так заметна, начались поиски маленьких машинок, узкие дорожки от которых можно было легко замаскировать. Но отрощенные волосы раз в месяц остригали, паковали и куда-то отправляли.

Летом 1944 года на аппэльплацу, недалеко от столба с лагерным колоколом, в одно из воскресений быстро возвели деревянные подмости — сцену для выступления лагерной ху-

дожественной самодеятельности. В концерте были представлены все национальности, от каждой — по одному-два номера. Лагерное начальство — сидя, а мы — стоя, с большим удовольствием аплодировали самодеятельным артистам. Они выступали и в самом деле хорошо.

Концерт открыли чехи. Они спели песенку о семейном оркестре. Песня пелась на немецком языке и начиналась со слов: «Мама, ди шпильт тромпэттэ...», ну а остальные — кто на чём, а вместе — оркестр. Собственно, все номера были прекрасны. Наши русские были представлены песней «Вот мчится тройка почтовая». На «бис» певец исполнил ещё «Из-за острова на стрежень» и, по просьбе начальства, «Катюшу». Вторым номером от русских было соло на пиле. Это был поистине оригинальный номер.

К сожалению, этот первый в Заксенхаузене концерт стал и последним. Больше концертов самодеятельности не проводилось.

1944 год стал годом интенсивных бомбёжек. Раньше они обходили нас стороной, а теперь настал и наш черёд. Бомбили Ораниенбург, но досталось и нашим рабочим командам, и лагерю. В связи с этим на рабочих объектах в спешном порядке рылись «шприттэнграбэн» (окопы) для укрытия от бомбёжек. Вырыли мы окоп, да ещё и с блиндажом, и у себя на команде, неподалёку от нашей Буды. Но прятаться там не пришлось. По распоряжению высшего руководства в центре «Гауптцойгамт» был вырыт один общий большой окоп для всех четырёх команд, так как все мы были под одним оцеплением.

В одну из очень сильных бомбёжек погиб наш Андрей. Он замешкался в Буде и угодил под бомбу. А наша Буда в тот день сгорела дотла. Кроме того, на «Гауптцойгамт» были жертвы и со стороны военных, и со стороны заключённых. Вилли очень горевал по Андрею, но от судьбы не уйдёшь. Спасти Андрея (он был тяжело ранен в голову) не удалось, как Вилли ни старался.

В лагере в этот день были повреждены несколько барачков. Для лагерного руководства на аппэльплацу, около столба с радиодинамиком, соорудили бомбоубежище. Мы же во время

воздушных атак находились в своих незащищённых бараках.

Покушение на Гитлера в июле 1944 года отразилось и на концлагере. Начались «охота на ведьм» и «великое переселение народов». Кого — из блока в блок, а кого — и в другой лагерь. Большинство блокковых, штубовых и фоторайтеров с красными винкелями сменили на «зелёных» и «чёрных». В одну ночь из лагеря исчезли бывшие высшие командиры Красной Армии, лица, занимавшие при «советах» руководящие должности, все подозрительные лица, в том числе и известный почти всему лагерю русский священник — отец Иван. А меня переселили из 34-го в блок, не помню уже его номер (мало в нём прожил), крайний в последнем ряду от трубы крематория.

Когда-то этот блок был полностью французским. Позже его немного «разбавили» заключёнными других национальностей. Но всё равно французы здесь так и остались в большинстве. Они отличались аккуратностью, сплочённостью, высоким патриотизмом. Многие носили в своих карманах разноцветные лоскутки своего национального флага. Это французы этого блока были в Заксенхаузене «законодателями» мод и заядлыми «променадниками». Они верили в своё освобождение. Ежедневно бегая и занимаясь по утрам физзарядкой у самых стен крематория, они как бы бросали вызов смерти, утверждая жизнь.

Мне у французов понравилось. Единственное, что не устраивало меня в этом блоке, так это то, что он находился на задворках лагеря у самой трубы крематория, дымившей круглыми сутками едким, противным трупным запахом. Особенно в дни, когда ветер поворачивал дым в сторону нашего блока.

Зная со школы несколько десятков французских слов и пытаясь их употреблять при разговоре, я быстро снискал у французов симпатию. Но серьёзно заняться французским мне помешало переселение в 42-й блок в связи с разрушением после одной из бомбёжек этого.

После разгрома Варшавского восстания в августе 1944 года лагерь наводнили поляки. От них я узнал о газовых камерах Освенцима. Не приведи господь!

Затем в лагерь прибыла партия венгров, цыган и евреев.

Цыгане и евреи вскоре куда-то исчезли.

Несколько слов о запомнившихся публичных смертных казнях. Неприятное зрелище. Желających посмотреть на это были единицы — но куда же денешься? Когда мы возвращались с работы в лагерь и видели установленную виселицу, было ясно, что сегодня кого-то казнят.

Казнили сразу после вечернего аппэля. Из «цэленбау» доставлялся приговорённый, один из офицеров зачитывал приговор, а его исполнение проводилось руками заключённых — специальной командой из немцев. Они устанавливали виселицу, они же её разбирали и увозили вместе с телом казнённого к крематорию. Для установки виселицы в конце дорожки, что вела от Брамь, у самого начала скверика между баней и шрайбштубой имелись два маленьких люка специально для виселичных столбов.

Как-то раз вешали убежавшего из Заксенхаузена и пойманного через год в Праге. Когда его вздёрули — оборвалась верёвка. Казнимый упал на землю. Все подумали, что, по неписанному закону, вешать его больше не должны. Полагалось, вроде бы, сохранить ему жизнь. Вешать второй раз не стали — офицер, ответственный за казнь, выстрелил из пистолета ему в голову. Таким образом, приговорённый был казнён дважды: и повешен, и расстрелян.

Однажды, прежде чем повесить, приговорённого «всыпали» 75 ударов плетью. После экзекуции идти он не мог, и на виселицу его выволокли.

Ещё хорошо запомнилась казнь двоих русских из Казахстана. Во время бомбёжки они взяли из разрушенного продуктового склада по две буханки хлеба. Это стоило им жизни. Перед смертью они прокричали нам свои подлинные фамилии и адреса с тем, чтобы об их кончине кто-нибудь сообщил родным.

Кроме повешения, на плацу практиковались экзекуции плетью по 25, 50, 75 и 100 ударов. Для этого ставился «козёл», к нему привязывали приговорённого, задирали рубашку, спустили штаны и били. Тоже ужасное зрелище. Крики и вопли истязуемого раздирали душу.

После войны много говорилось и писалось о питании в

концлагерях. Об этом иногда пишут, говорят и сейчас. Не в розовых тонах, конечно. Не знаю, как в других концлагерях, но в Заксенхаузене пища не была «баландой», а вполне съедобной и, казалось, даже вкусной. Возможно — из-за постоянного чувства голода. Но, полагаю, не только. Повара, используя нехитрые приправы, готовили так, что пища не поедалась, а вылизывалась. Да так, что и миски мыть не надо.

В основном еда была овощная, но разнообразная. Супы и подливы для картошки готовились не только из капусты и брюквы, но и из других овощей: моркови, кольраби, шпината, гороха, квашеной капусты, редисочной и свекловичной ботвы, изредка из ракушечных моллюсков, и совсем уж редко супы готовились из хлеба и вермишели.

А вообще-то, пища была низкокалорийной, и было её мало. 20-30 граммов маргарина в сутки — это не жиры; а такое же количество ливерной колбасы или плавленого сыра — не протеины; столовая ложка повидла — не сахар; буханка хлеба на четырёх — не хлеб. Все, кто довольствовался только лагерным пайком — а таких было большинство — непрерывно ощущали голод. Я, например, испытывал постоянное чувство голода более двух лет. До тех пор, пока не оказался в команде «Абладэр Гауптцойгамт».

После того, как нашу Буду разбомбили, «абладэрам» пришлось ютиться в фанерном «цельте» (шатре). В нём имелись двери, но ни одного окна. Летом — в тёплую погоду — было жарко, зимой — от холода зуб на зуб не попадал. Сидеть было не на чем, а лежать можно было только на земле, подстелив деревянные стружки. Пищу готовить тоже было не на чем — ни печки, ни посуды. Зато появилось ощущение временности пребывания в лагере. Верилось, что свобода уже не за горами.

Интуиция не подвела. В конце 1944 года из Заксенхаузена, как и из других концлагерей, в сторону фронтов на Запад и на Восток периодически отправляли небольшие команды заключённых для строительства оборонительных сооружений. В составе одной из подобных команд из Дахау во Францию был отправлен мой двоюродный брат Борис, бежавший вместе со мной в 1942 году из Аммендорфа и в тот же день пойманный в

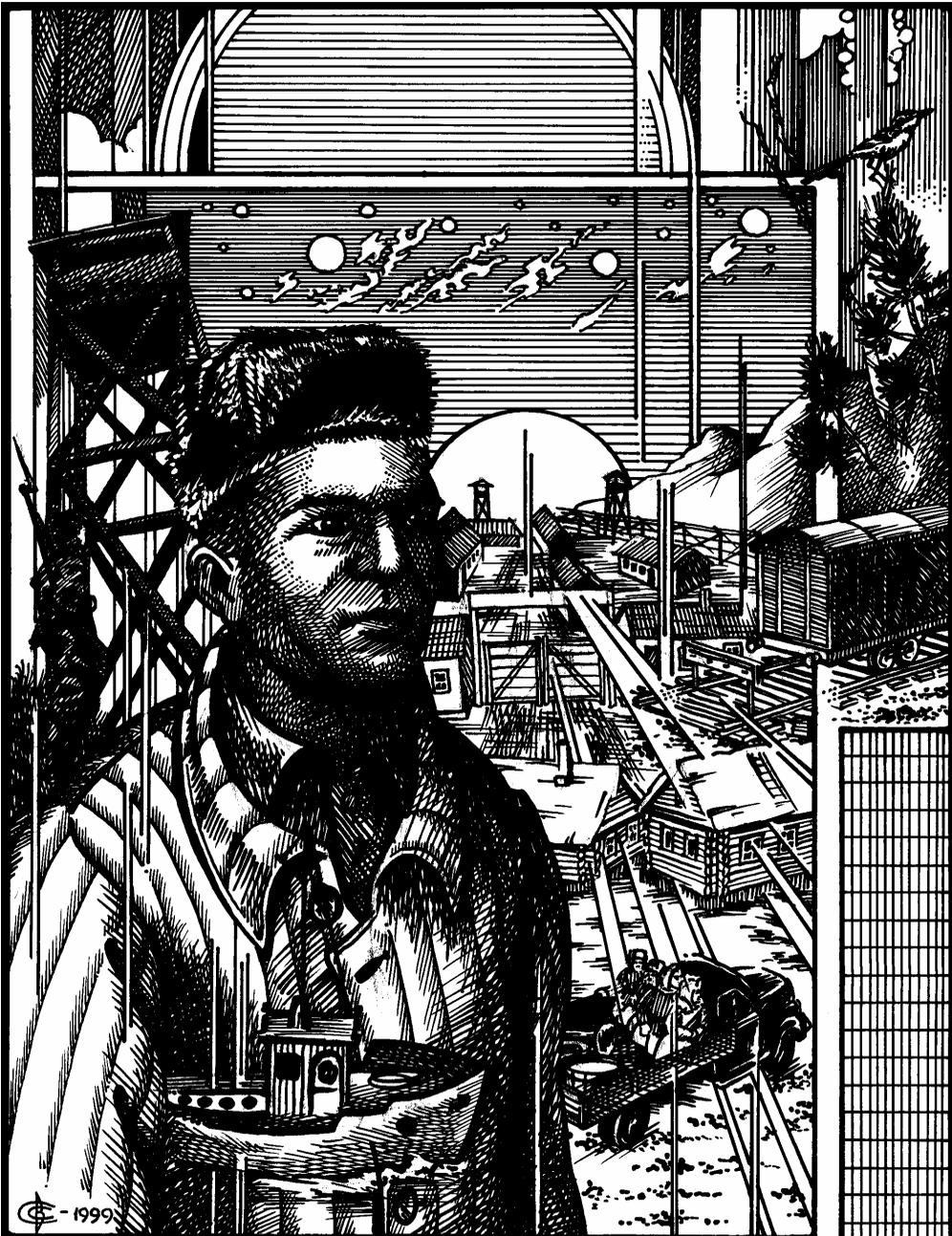
Галле. Во Франции его освободили американские войска.

Таким же образом в Восточной Пруссии очутился и я, отправленный в составе одной из команд в конце февраля 1945 года. Везли нас быстро настолько, насколько это позволяла военная обстановка. Ночью мы остановились. Были слышны взрывы, беготня и крики конвоя «руссишэ панцэр!» (русские танки!) Потом ненадолго стало тихо. Затем раздалась автоматная и винтовочная стрельба, шум движущихся танков. Приблизившись, танки остановились. У вагона слышались шаги и добротный русский мат. Всем стало ясно — пришли наши.

До утра нам велели побыть в вагоне и никуда не расходиться. А утром приехавшее начальство распорядилось всем, кто из СССР и призывного возраста, следовать в полевой военкомат. Это было 2 марта 1945 года.

Так закончилось моё пребывание у немцев.

...Послужной список моего пребывания в Советской Армии вопросов у следователя не вызывал: перед ним на столе лежала моя «Солдатская книжка».



© - 1999

# ЧАСТЬ III. ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА



## 1. Продолжение следствия

Как только с биографией было покончено, следователь Акимов приступил к допросу «по делу».

— Расскажи подробно о своём пребывании в Ленинграде во время отпуска!

Я ответил, что весь отпуск провёл в кругу родных, а по музеям и кинотеатрам меня сопровождал двоюродный брат Гриша, так как мать была постоянно занята на работе.

— А кого ты в Ленинграде ещё посещал, какие задания высоких чинов там получил и кому здесь в Германии их передал?

Вопрос походил на шутку, но, как оказалось, был задан Акимовым всерьёз. С большим трудом, но я от этого вопроса отбилсЯ. Однако Акимов не унимался:

— Расскажи о своей антисоветской деятельности!

Этот вопрос для меня прозвучал как оскорбление. Я и антисоветская деятельность — не совместимы. После концлагеря Заксенхаузен я был искренне предан Советской власти, партии и правительству, несказанно благодарен за своё освобождение, очень гордился своим воинским званием и должностью старшины, социализм и коммунизм исповедовал как религию, дальнейшую свою судьбу навсегда решил связать с Советской Армией, став военным дирижёром... и вдруг антисоветская деятельность! Чепуха какая-то!

Но следователь думал иначе. Не знаю к чему, но неожиданно он скороговоркой прокричал:

— Тебя видели в Берлине, Любеке, Дрездене, Гамбурге, Франкфурте, в Восточной Пруссии, — как ты всё это объяснишь?!

Я объяснил, что в Берлине мне приходилось бывать много раз, но только по служебным делам. В Любеке, Дрездене, Гамбурге я никогда не был. Во Франкфурте бывал только проездом, не выходя из поезда, а в Восточной Пруссии призвался в армию.

К моему удивлению, ответ Акимова устроил. Он обождал, пока я немного успокоюсь, и спросил:

— О чём ты рассказывал своим подчинённым сразу по возвращении из отпуска?

Этот вопрос заставил меня заволноваться. Я лихорадочно пытался вспомнить, что же конкретно я тогда говорил. Неужели «ляпнул» что-нибудь лишнее? Но ничего предосудительно-крамольного вспомнить не мог.

Наверно, я думал слишком долго, так что следователю пришлось о себе напомнить:

— Ну что, не придумаешь, как мне соврать?

— Да бог с вами, гражданин следователь. Я действительно не помню, что тогда говорил. Прошло столько времени!

— Ай-яй-яй, какие мы забывчивые! Может, тебе напомнить?

— Напомните.

— Тогда я зачитаю вот это: «...По приезде из отпуска старшина Сиренко в кругу своих подчинённых рассказывал, что его мать плохо живёт, мало получает. Хотя работает в две смены — живёт впроголодь, плохо одета, жить негде...» — ну, а дальше, думаю, продолжишь сам!

Такой разговор был. Я ещё рассказывал о бандитизме, разгале хулиганства, очередях и дороговизне. О том, что к матери в комнату площадью в 9 квадратных метров подселили молодую семью, ожидавшую рождения ребёнка, а мою мать предупредили, что весной выселят, так как она из другого ведомства.

Рассказывая всё это, я, конечно же, не думал, что на меня донесут. Потом, в связи с предстоящей демобилизацией, я агитировал нескольких музыкантов остаться на сверхсрочную службу, советуя подзаработать денег, приодеться, и тогда уже ехать домой. Кстати, некоторые к моему совету прислушались — и не прогадали.

— А что ты говорил о Смоленске?

Я начал припоминать. Как на мой взгляд — ничего недозволенного. Ну, ехал я поездом «Брест — Москва» и, как всегда, подолгу торчал у окна. Поезд резко сбавил скорость, и кто-то сказал: «Сейчас будет Днепр — за ним Смоленск!» Пассажиры облепили окна. Когда проехали мост, вместо города увидели груды развалин, как в Берлине, Магдебурге или

Варшаве. Один из офицеров, а в поезде ехали преимущественно они, возмутился: «Сволочи, во что превратили город! Да такое не восстановить и через десять лет!» Я молча согласился, но ничего не сказал: не хотел вмешиваться в офицерский разговор.

Но чёрт меня дёрнул об этом разговоре вспомнить и рассказать. Отреагировал тогда один младший сержант Корушев: «А в газетах врут, что восстановление городов идёт уже полным ходом!» И офицерский разговор, — зачем, мол, пересказал! — и реплику Корушева Акимов сейчас приписал мне как неверие в советскую печать и животворные силы советского народа.

— У меня есть сведения, что ты неоднократно высказывал недовольство пищей. Тебя что — немцы в концлагере кормили лучше?

Уж на что, но на пищу после концлагеря я никогда не жаловался. Да и кормили в Группе Советских Оккупационных войск в Германии довольно-таки прилично. Голодным я никогда не был. Так я следователю и ответил.

— А тухлую селёдку помнишь? — с ехидцей спросил Акимов.

Инцидент по поводу этой селёдки я не забыл, но был здесь абсолютно ни при чём. Я не возмущался селёдкой «с душком», так как хорошо знал, что это был специальный вид посола, считавшийся у немцев деликатесом. Наоборот, всех уговаривал её смело кушать. Самому мне этот вид посола нравился ещё с острова Польш, где я нёс службу летом 1945 года, в окружении жителей-рыбаков. Они нас ею часто потчевали. Но доказать Акимову свою невиновность в этом деле так и не удалось.

— С какой целью ты восхвалял капиталистическую боевую технику?

Я за собой такого вроде бы не помнил, но следователь подсказал:

— А разве ты не говорил, что «Студебеккер» лучше «ЗИСа»?

— Да. Но я только повторял это вместе со всеми. Водители утверждали, и мне так казалось. «Студебеккеры» были на вооружении нашей артбригады в качестве тягачей тяжёловесных

орудий, а «ЗИСы» подвозили продукты и увозили бельё в прачечную.

— Так и запишем: «Говорил». А чем тебе не угодили решения нашего правительства?

«Какие ещё решения? — задумался я. — Что-то не припомню».

— Лауреатов Сталинских премий не припоминаешь?

Вспомнил. Разговор о них был. Как-то газеты напечатали список очередных лауреатов, где несколько самых крупных премий достались некоторым нашим известным певцам. А я возьми, да и «ляпни»: «Спел песенку — и сто тысяч в кармане. Это же сколько на эти деньги надо трудиться простому рабочему!»

Не знаю, для чего я это сказал. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть особую заботу государства о работниках искусства или огромную величину таких денег, но, что было — то было. Это расценили как недовольство политикой партии и правительства.

После этих вопросов Акимов начал меня обвинять в высказываниях, которых я не говорил, и никогда так не думал. Он тыкал пальцем в бумаги и заявлял, что свидетели показывают на меня то-то, то-то и то-то, заставляя меня это признавать и подписывать, не принимая моих оправданий. Акимов стал вести себя агрессивно: кричал, угрожал, запугивал, матерился; донимал укорами, — почему немцы меня не повесили, не расстреляли? Наверно, я с ними сотрудничал!

— Почему не ушёл в партизаны или с нашими отступавшими частями, почему не эвакуировался? — орал на меня Акимов.

Я твердил ему, что мне было только 15 лет, о сложившихся в этот период обстоятельствах, о том, что я почти три года находился в фашистском концлагере. А он мне:

— Я ещё разберусь, чем ты в концлагере занимался! Об этом у нас с тобой разговор ещё будет впереди! Почему сам не застрелился или не повесился, как настоящий советский патриот? Немцев тебе захотелось?

Наши взаимоотношения заплыла обоюдной ненавистью, и все допросы стали ночными. Минут через сорок или через час

после отбоя меня будили, приводили к Акимову, и он настырно домогался от меня «признаний». Сонный, я клевал носом и, сидя на табурете, часто засыпал.

— Не спать! — орал на меня Акимов.

Иногда, плохо соображая, чтобы отвязаться, я кое-что подписывал, но большей частью — нет.

В четыре или в половине пятого меня уводили в камеру. Не успею заснуть — как в шесть утра подъём, со всеми вытекающими: уборка постели и камеры, оправка, печка. Пытаясь хоть как-то вздремнуть, я прислонялся к матрацам и тут же засыпал. Но «недремлющее око» надзирателя было тут как тут:

— Сиренко, не спать! Отодвинься от матрацев! Посажу в карцер!

Какая же это была пытка — не спать ночь, две, три, неделю подряд! Несколько лет тому назад, сидя в камерах немецкой жандармерии в гестапо, я со страхом ожидал пыток. Но, слава богу, так и не дождался. А тут — вот она, пытка: нежданная, но какая мучительная!

Наверное, следствие по моему делу не укладывалось в срок, потому как мною решил заняться сам начальник гарнизонного КГБ майор Ромашов. Узнав об этом, я по наивности обрадовался. Думал, он справедливо во всём разберётся и оградит меня от ухваток Акимова. Но не тут-то было! Он «запел» ту же «песню», что и Акимов: признавай да подписывай! Потом он меня обвинил в том, что я пережил войну и остался жив, в то время как другие, настоящие советские люди, погибли из-за таких, как я. И он «гнул» туда же:

— Почему бы тебе самому было не удавиться или не застрелиться, если этого не сделали немцы?

Отпустив в мой адрес несколько крепких нецензурных выражений, майор замахнулся на меня своим кулачищем, но в последний момент что-то его остановило, и он только ещё раз крепко выругался. За что — непонятно. Немного поостыв, уже спокойным голосом он спросил с укоризной:

— Как ты мог нашу армейскую пищу обозвать «флеконом»? Тебя что — в концлагере лучше кормили? Мне рассказывали, как ты выхвалялся, что там вас кормили котлетами.

Я попытался объяснить майору, что «флекон» — не моя придумка. Что «флеконом» солдаты называют не всю пищу, а только овсяную крупу. Немецкое название «Гаффафлокен» они упростили для удобства произношения, и получился «флекон». А о котлетах в концлагере мог придумать только больной на голову, а не я.

— Врёшь, изворачиваешься! — бесновался майор.

Во время допроса в кабинет вошёл незнакомый подполковник армейской госбезопасности, и майор ему на меня пожаловался:

— Вот, не хочет признаваться!

— Что же вы, Сиренко! — с укором произнёс подполковник, а майор тут же попросил его продлить срок моего пребывания в КПЗ ещё на месяц.

— Подавайте ходатайство — продлим, — любезно пообещал подполковник и вышел.

На следующий день по распоряжению Ромашова вместо Акимова моим следователем стал капитан Доленко. Он отличался уравновешенностью. Проводил допросы тихо, не повышая голоса, внимательно выслушивая. Капитан детально расспросил о моих родителях, учителях, друзьях, знакомых, соседях. Внимательно выслушал рассказ о моих мытарствах во время оккупации, пребывании в «остарбайтерах» и концлагере Заксенхаузен. Слушая, он сочувственно кивал головой:

— Ну, и досталось же тебе! Можно только посочувствовать.

Иногда наши с ним беседы были столь доверительны, что казалось, он вот-вот скажет:

— Забирай-ка ты, Сиренко, свой вещмешок и топай в свою войсковую часть дослуживать!

Я уже было подумал, что встретил в лице следователя настоящего правильного чекиста, какими их изображают в книгах и кино. Но рано радовался: вскоре капитану понадобилось то же, что и Акимову — признать и подписать. И дальнейшие наши беседы с ним не складывались.

Тогда капитан сказал мне такое:

— Мне жаль тебя, старшина. Абсолютно всё отрицая, ты

долго не продержишься. Посмотрел бы ты на себя в зеркало: на кого ты похож? Сидишь в сыром холодном подвале без света, без движения, без человеческого общения, на скудном пайке. Так ведь недолго и до инвалидности, а там — и до смерти. И никто не узнает о твоей героической стойкости и молчании. А матери сообщим, что погиб при исполнении военного долга. Ты этого хочешь? Мы будем держать тебя здесь, сколько понадобится. По твоей статье отсюда по-хорошему не уходят. У тебя только один путь спасения — через лагерь. Да, да, да! Это лучше, чем стать пожизненным инвалидом или трупом. В лагере свежий воздух, люди, общение, работа — возможно и по твоей специальности. Там вашего брата полно. Есть и оркестры, и театры. За добросовестный труд и примерное поведение досрочно освободишься по зачётам, с деньгами, и забудешь весь этот кошмар как страшный сон. Женишься, обзаведёшься семьёй и станешь полноправным советским гражданином, как все.

— И что же мне делать?

— Чистосердечно признаваться и подписывать показания.

— Но ведь я такого никогда не говорил! Зачем же мне себя оговаривать?

— Дыма без огня не бывает! А мне что прикажешь делать вот с этим? — потрясая бумагами с доносами, прошептал капитан. — Что-то запишем, что-то пропустим, но проигнорировать всё — мне не под силу. У тебя статья от 10 до 25 лет. Будешь разумно себя вести — обещаю, что больше десяти лет не получишь. Я сказал тебе больше, чем мог, а ты — решай. Сейчас пойдёшь в камеру, посиди, подумай, а через пару дней встретимся.

Несколько дней меня никто не тревожил. Я думал, как поступить: поверить капитану и прислушаться к его советам? А если весь его разговор — всего лишь способ выудить из меня показания, а там — «шлёпнут» или дадут 25 лет с клеймом «врага народа», и дело с концом! И винить некого: сам подписал. А если капитан прав, и меня действительно сгноят в подвале? О подобном рассказывали в Заксенхаузене те, кто побывал в объятиях НКВД, и кому чудом удалось оттуда вырваться.

Тогда я им не верил, но сейчас мои взгляды изменились.

В общем, стойкого бойца из меня не получилось. Ведь свои же! И я решил довериться капитану.

Теперь следствие у нас пошло, как по маслу. Допросы стали дневными. Капитан по своему усмотрению дозировал «улики». Некоторые из них, скрепя сердце, я подписывал, некоторые — нет. И чего в них только было не напридумано! Наконец, настал день, когда капитан сказал:

— Всё, хватит! Остальное останется для истории.

Я с радостью осознал, что следователь уже набрал улики для десяти лет. «Дело» закончено. Последнее слово — за военным трибуналом.

4 марта 1950 года я подписал 205 ст. УК РСФСР о личном ознакомлении (согласно протоколу, оно длилось один час и десять минут) со своим уголовным делом, которое читалось мной, как интереснейший роман Дюма-отца.

Первый листок — докладная нашего бригадного оперуполномоченного СМЕРШ лейтенанта Акимова. Он доводил до сведения, что по его наблюдению, я на протяжении 1949 года систематически проводил среди своих подчинённых антисоветскую агитацию и пропаганду.

Следующий лист — показания рядового Зизики.

Незадолго до ареста меня срочно вызвали в штаб бригады и приказали подготовить к немедленной отправке рядового Зизика в СССР для дальнейшего прохождения службы. Я быстро его экипировал во всё лучшее, что у меня было в каптёрке, добыл на кухне кое-каких харчишек ему на дорогу, посадил в предоставленный автомобиль и мы сердечно с ним попрощались, пообещав друг другу писать.

По дороге на вокзал его завезли в КГБ и допросили, не замечал или не слышал ли он от меня каких-либо антисоветских высказываний. Зизика ответил, что нет. Тогда его одну ночь продержали в КПЗ, посоветовав хорошенько подумать. На следующий день Зизика «вспомнил» всё то, что требовалось «вспомнить».

Это он сказал, что по возвращении из отпуска я рассказывал, как плохо живёт мать, и жизнь в СССР пока что тяжёлая;

что давал мне читать письмо своего отца, просившего совета, вступать ему в колхоз или нет, так как в Западной Белоруссии началась массовая коллективизация. Зизика знал, что я вырос и с детства работал в колхозе. Я рассказал ему всё, что знал: работа не по часам, а от зари до зари; наряд — в шесть утра; оплата по трудодням в конце года; летом возможен небольшой аванс. Напоследок добавил, что когда его отец вступит в колхоз — сам узнает, что к чему.

Потом пошли «показания» свидетелей — моих сослуживцев. Я читал и поражался их измышлениям и вранью. Всё, что когда-либо мной говорилось, было перекручено до неузнаваемости. Слова и фразы, вырванные отдельно из контекста, зачастую искажали смысл сказанного. И что бы я ни говорил Акимову, пытаюсь рассказать, как было на самом деле — отвергалось им как изворачивание и попытка уйти от ответственности.

Младший сержант Александр Корышев из г. Куртамыш Курганской области отказался давать какие-либо порочащие меня показания, сказав, что за годы совместной службы (это два года) никогда не слышал от меня никаких антисоветских разговоров. Возможно, за этим скрывалась попытка замаскировать главного доносчика. Корышев — мой постоянный оппонент, большой любитель спиртного. Его часто приходилось скрывать от начальства, уберегать от гауптвахты. Именно от него я мог ожидать негативных показаний в первую очередь. Но, тем не менее...

Рядовой Торпашов из г. Тутаева Ярославской области показал, что о моём пребывании в Германии ничего не знает (хотя я с этим никогда не таился). Зато «выдал» столько якобы услышанных от меня антисоветских измышлений, что можно подумать, будто бы я больше ничем на службе не занимался, кроме как их сочинением и распространением. Однако не только говорить, но и думать *так* я не мог.

Рядовой Стеценко из Харькова показал, что у меня в Шверине был знакомый немец по фамилии Вендлер, с которым я дружил, и что я служил в штабе бригады писарем, и таким образом мог разглашать секретные сведения. Внешне показа-

ния Стеценко похожи на правду, а если разобраться — сущая ложь. Да, я действительно был хорошо знаком с Вендлером, но никогда с ним не дружил. В друзья он мне не годился ни по возрасту (60 лет), ни по образу мышления. Да и кто я ему, чтобы со мной дружить? Старик Вендлер — единственный в Шверине владелец небольшой мастерской по ремонту духовых музыкальных инструментов и отличный специалист — мастер своего дела — по изготовлению труб. Услугами его мастерской пользовались не только я, а все старшины духовых оркестров Шверинского гарнизона. Изготовленные его руками трубы раскупались нарасхват трубачами-сверхсрочниками.

Моё знакомство с Вендлером сводилось к тому, что периодически, раз в полгода, а иногда и чаще, мне приходилось сдавать ему на ремонт музыкальные инструменты нашего оркестра, а спустя некоторое время — отремонтированные — забирать их обратно. В одиночку я к нему никогда не ходил. Не мог же я сам донести 5-7 инструментов! Для этого я брал себе в подмогу несколько солдат, и Стеценко в том числе. Деньги на ремонт получал у начфина бригады.

Был я и писарем, но не в штабе бригады, как это утверждает Стеценко, а писарем-каптенармусом батареи Управления 407-й артбригады, дислоцировавшейся на полуострове Крапелин, в то время как Вендлер жил в Шверине, и тогда я вообще не был с ним знаком. В обязанности писаря-каптенармуса входило ежедневно подавать в штаб бригады строевую на довольствие и заведовать каптёркой, где хранилось обмундирование, бельё, обувь, постельные принадлежности, мыло — всё это добро получать и выдавать. Какие уж тут военные секреты!

Писарем же штаба бригады я быть не мог, так как для этого от органов госбезопасности необходим был допуск к секретной документации. Всем, побывавшим в немецкой оккупации или в Германии, такой допуск не выдавался. Непонятно, для чего вообще понадобились «показания» Стеценко?

Сержант Николай Ковальчук из села Кировоградской области показал, что я на политзанятиях восхвалял англо-американскую военную технику. Если вырвать мои отдельные слова из контекста — выходит, так и было. Но если привести все слова,

зачитанные мною на политзанятиях из конспекта, составленного на семинаре пропагандистов части, то получится следующее: «... у американцев сильная армия и новейшая военная техника. После речи Черчилля в Фултоне нам всем необходимо повышать боеготовность и бдительность! Сейчас, как никогда, не может быть места самоуспокоенности и разгильдяйству...» Эти слова нам, пропагандистам, продиктовал инструктор политотдела. Думаю, он взял их из газет, обильно комментировавших речь Черчилля. Вряд ли Ковальчук был настолько глуп, что не ведал, о чём говорил, а Акимов — не знал цену Ковальчуковых «показаний».

Самым неистовым свидетелем оказался сверхсрочник Николай Мокрый из г. Лебедина Полтавской области. Неизвестно, чем я ему так «насоллил». Возможно, он лишний раз попытался таким образом доказать свою любовь и преданность Советской власти — ведь он и сам был в немецкой оккупации. А возможно — по недомыслию или из зависти.

Мокрый заявил, якобы с моих слов, что в концлагере мне было хорошо: я, мол, играл там в духовом оркестре, сажал цветочки, подметал лагерь, вкусно кормился котлетами, по праздникам там меня не водили на работу, а в доме у нас в период оккупации проживал полицай — мой родственник.

На первый взгляд — всё вроде бы тоже походит на правду. Я рассказывал, что в концлагере был духовой оркестр, но никогда не говорил, что в нём играл, потому как не умел и не знал нотной грамоты. Первым азам игры на духовых инструментах (на теноре) меня учил сам Мокрый, когда в ноябре 1945 года меня взяли в оркестр учеником на большой барабан и тарелки.

Я говорил, что в Заксенхаузене было много цветочных клумб, но никогда не говорил, что их сажал. Этим занимались агрономы-специалисты, преимущественно немцы. Я до концлагеря и цветов-то, кроме «півників» и «чорнобривців», не знал и не видел. А вот поливать их и подметать приходилось во время дежурств по блоку (бараку) — ведь в лагере было самообслуживание! От дежурств никуда не денешься: отказчика могли забить насмерть.

О котлетах Мокрый просто сам придумал и наврал.

Наготовить котлет на 40 тысяч человек — даже технически невозможно.

То, что по праздникам не водили на работу — тоже правда. Но не из жалости к заключённым, а потому что предприятия и конвой в те дни не работали — праздники же!

Невольно возникает вопрос: почему Мокрый и подобные ему считают предосудительным, отягчающим вину обстоятельством для 16-летнего подростка, побывавшего в концлагере, играть в духовом оркестре, сажать цветы, подметать лагерь, по праздникам вместе со всеми не работать, наконец, есть не лагерную баланду, а котлеты. Разве в этих действиях заложен какой-то криминал, подрывающий устои Советского государства?

Пусть успокоятся «ура-патриоты» типа Мокрого: моими рабочими инструментами, как и большинства заключённых концлагеря на строительных площадках были лопата, лом, кирка, тачка, носилки, вагонетка и собственная спина для переноски тяжестей, по 8-10 часов в день, да ещё по две проверки ежедневно. И рядом с цветочками, чистотой и порядком круглосуточно дымила трупами труба крематория. В этом концлагере выживал только каждый второй.

О полицае я тоже рассказывал, но не так, как это представил Мокрый. Полицай не был нашим родственником. Он был русским, говорил, что с Кубани, советский военнопленный. В полицию пошёл, чтобы избежать лагеря военнопленных. А рассказывал я о нём примерно так: «Однажды к нам в дом вошёл человек в шинели, с винтовкой, повязкой полицака на рукаве и сказал матери, что его направили к нам на постой, если она не будет возражать. Мать не возражала — как тут возразишь, если он направлен? Кому охота подставлять свою голову, вызвав подозрения в нелояльности к немецким властям? Как оказалось впоследствии, он был «липовым» полицаем, — иначе бы я о нём никому не рассказывал. Когда в 1943 году в Корсунь возвратились Советские войска, он не убежал с немцами, как другие, а сказал матери, что пошёл «сдаваться». На следующий день этот «полицай» пришёл в дом к матери в форме старшего лейтенанта Красной Армии, чтобы поблагодарить за всё и

попрощаться. «Полицай» оказался советским разведчиком. И я не мог удержаться, чтобы об этом не рассказать.

За «показаниями» свидетелей следовала «Карточка поощрений и взысканий». Я её не узнал — решил, что чужая. Но фамилия — моя. Карточку подменили. Моя была заполнена разными почерками, а эта — только одним, почерком моего дирижёра И.К.Липовкина. В моей настоящей карточке имелось более 30 благодарностей и ни одного взыскания. А в этой — только 4 благодарности, несколько нарядов вне очереди и даже гауптвахта, где я никогда не сидел. Для чего это было сделано, — я спросил самого Липовкина, случайно встретив его в Москве летом 1969 года, уже после освобождения.

Липовкин признался, что его вызвали в штаб бригады, и начальник штаба вместе с Акимовым на него «надавили». Акимов сказал, что с такой карточкой, как у меня, «представляют к ордену, а не садят в тюрьму». А начальник штаба пообещал задержать присвоение очередного звания и уволить в запас, если он, Липовкин, её не переделает: «А у меня семья, дети...» Пришлось переделать.

Вот так велось следствие по моему «делу» славными чекистами страны Советов, «самого демократичного и гуманного в мире государства».

С Липовкиным мы вспомнили годы совместной службы, выпили по рюмке, погоревали над превратностями судьбы. В довершение, растрогавшись, Иван Кондратьевич Липовкин предложил мне стать преподавателем музыкальной школы в г. Прокопьевске Кемеровской области, где он жил и работал после увольнения в запас. Липовкин пообещал устроить мне официальный вызов с предоставлением квартиры. Я согласился. Иван Кондратьевич своё обещание выполнил. Мы с ним несколько лет проработали вместе. Он остался в моей памяти хорошим человеком, а «липовую» карточку скомпенсировал сполна.

Остальных своих сослуживцев я больше никогда не встречал.

После подписания 206-й статьи оставалось только дожидаться заседания военного трибунала. За ним было последнее сло-

во. Заседание состоялось ровно через 10 дней, а результаты его — на первых страницах этой книги.

## 2. Из Шверина на Колыму

Прошло 10 или 12 дней.

— Сиренко, с вещами — на выход! — в раскрытую дверь рано утром скомандовал надзиратель.

Мои вещи — вещмешок, а в нём — полотенце и мыло. Всё моё добро — аккордеон, три кларнета и небольшая нотная библиотека — было конфисковано. Я попрощался с Сашей и покинул камеру, с которой связаны самые неприятные воспоминания. У небольшого трофейного грузовичка нас, четырёх осуждённых, соединили попарно наручниками, погрузили и повезли вроде бы в Потсдам. Там была тюрьма.

Утро выдалось солнечное, тёплое, воздух — свежий. Вырулив со двора, мы помчались по хорошо знакомой мне Берлинской трассе. На окраине Шверина миновали мои «родные» казармы. Грустно, что расстался я с ними не так, как хотелось.

Мимо мелькали знакомые окрестности, оставались позади населённые пункты. Показался Потсдам. В тюрьму заезжать не стали, а напрямик — на железнодорожный вокзал. На задворках станции одиноко стоял пассажирский вагон, окружённый плотным конвоем с собаками. На вагоне — большими белыми буквами надпись «Почтовый». Я понял, что дальше нас повезут в этом вагоне, построенном в Германии, к тому же в Аммендорфе, на заводе, с которого я убежал в 1942 году. Это — обыкновенный купейный вагон, переоборудованный для перевозки заключённых. Средние полки удалены, деревянные двери заменены решётчатыми из железных прутьев, окна покрашены тёмно-синей масляной краской и задрапированы такого же цвета тканью. Надпись «Почтовый» — для маскировки.

Подкатывали и выгружались автомобиль за автомобилем. Вскоре нас набралось достаточно, чтобы занять вагон. В каждом купе разместили по восемь человек, и вскоре мы отправились. Как следовало из разговора конвоя — в Брест.

Путь оказался тяжёлым, напоминая переезд из Лецау в Заксенхаузен. Неисправные неработающие кондиционеры, на-

глухо задраенные окна, полное отсутствие вентиляции создали невыносимую духоту. Пот лил ручьём. Было жарко даже в одном белье. Во время движения конвоиры по крайней мере открывали в тамбурах двери, образуя сквознячки. А на стоянках мы просто задыхались. Как назло, днём нещадно палило солнце, раскаляя металлическую обшивку вагона. Спать пришлось или на третьей полке, или сидя.

Духота — духотой, а жизнь в вагоне не прекращалась. Пассажиры делали то, что принято делать в поездах — знакомились. Каждый представился и рассказал о себе.

Самым старшим среди нас по званию и по возрасту был капитан, лет под пятьдесят, осуждённый по ст. 136 УК РСФСР — умышленное убийство — на 7 лет ИТЛ. Капитан умудрился в день провозглашения ГДР убить немца. В назидание остальным, чтобы «наши» больше не баловали оружием, заседание военного трибунала сделали показательным, пригласив на него и гражданских-немцев. Капитан воевал все четыре года, имел много наград, несколько ранений, перед арестом командовал ротой. Ко всем осуждённым по 58-й статье относился брезгливо, сделав исключение только 10-му пункту, как у меня, считая их «болтунами». Он даже рассказывал о случае в своём полку, когда по ст. 58-10 осудили на 10 лет капитана, Героя Советского Союза, за то, что он по пьянке в кругу своих друзей рассказал, что, будучи в отпуске, видел собственными глазами, как наши женщины впрягались в плуги, культиваторы или бороны и обрабатывали колхозную землю.

Капитан попытался вытребовать перевод в другое купе, где не было бы осуждённых по 58-й статье, пожаловался, что ему тесно, жарко и мало дают воды. Но, получив отпор от конвоя, притих, а впоследствии смирился. Он верил, что через двое суток, в Бресте, его отпустят на волю.

Бывший старшина, 28-и лет, в начале войны попал в плен, бежал из лагеря, добрался до своего дома и «тихо» сидел, себя не проявляя. Незадолго до возвращения «наших» немецкие оккупационные власти предложили ему выбор: или служба в полиции — или его отправят в лагерь военнопленных. Зная, что собой представляют лагеря военнопленных, старшина вы-

брал первое. Служить в полиции ему пришлось недолго, около месяца. Когда пришли Советские войска, фильтрационная служба СМЕРШ решила дать старшине возможность служить в Советской Армии на общих основаниях, так как в полиции он был непродолжительное время, и своей службой, как и своим поведением, не причинил ущерба ни Советскому государству, ни местному населению.

Старшина хорошо воевал. Прилично награждён, в том числе и орденом «Красного знамени». После войны служил старшиной роты, а, демобилизовавшись, остался работать вольнонаёмным в Группе Оккупационных Войск в Германии. Женился на девушке с Украины, тоже вольнонаёмной. Имеет двоих детей.

Подзаработав денег и приодевшись, он с семьёй отбыл в отпуск на Родину. Встречи с родными и знакомыми были отмечены с «размахом», обильными попойками и приличными, по тем временам, подарками родственникам.

Такое не смогли спокойно стерпеть соседи и односельчане, работавшие в колхозе на трудодни. В органы КГБ «пошли письма»: как это бывший полицей живёт «на широкую ногу», а они, труженики полей, бедствуют? Сигнал «патриотов» недолго ходил по инстанциям. Арест, военный трибунал и приговор: 25 лет ИТЛ по ст. 58-1б УК РСФСР. «Патриоты» были удовлетворены, а старшина обречён на многолетние страдания, без семьи, с пожизненным клеймом отщепенца, предателя Родины.

Бывший старший лейтенант Красной Армии, в самом начале войны попавший в плен, всю войну находился в Германии в лагерях для военнопленных. Освобождён американскими войсками. Побоявшись репрессий, отказался возвращаться в Советский Союз. Осел в Западной Германии, женился на немке, имеет двоих детей. Будучи специалистом-автомехаником, открыл небольшую собственную автомастерскую. Вместе с женой они ещё владели двухэтажным особняком с прислугой, загородным участком земли с дачным домиком; имели два легковых автомобиля, грузовик; держали несколько рабочих в мастерской.

Жизнью в ФРГ он был весьма доволен, но счастье его было

непродолжительным. В 1949 году старшего лейтенанта выкрали советские спецслужбы. Далее — следствие, военный трибунал и 25 лет ИТЛ по ст. 58-1б «Измена Родине». Этот человек потерял всё, что имел.

Он многое порассказал нам о жизни в ФРГ, очень отличавшейся от нашей в Советском Союзе, и часто повторял, что мы понятия не имеем, что значит жить хорошо и свободно.

Капитан называл все его рассказы «махровой империалистической пропагандой», призывал не верить «злобным выпадам предателя» и упрекал в том, что он «продался капиталистам, да ещё и заклятым врагам — немцам». Тем не менее, мы слушали старшего лейтенанта, раскрыв рот.

Остальные четверо — осуждены за воровство, хулиганство и самоволки на срок от 7 до 12 лет. Капитан относился к ним снисходительно, считая нечаянно оступившимися.

В пути нас один раз в сутки кормили горячим обедом, а остальное время — питались всухомятку, в основном — селёдкой с хлебом, при этом нам давали очень мало воды.

Украдкой я подглядывал в окно через царапины и сообщал названия станций, которые мы проезжали.

Наконец мы добрались до Бреста. Стояло тёплое солнечное утро. Люди спешили, кто куда: на рынок, в магазины, на работу, — а мы под конвоем брели в тюрьму. Глядя на нашу колонну, сплошь одетую в серые шинели, прохожие, показывая на нас пальцами, говорили: «Власовцев повели! Так им и надо!» Обидно было это слышать, так как большинство из нашей колонны воевали и против власовцев в том числе. Но деваться некуда, кроме как в распахнутые тюремные ворота. Со двора нас развели по камерам.

Брестская тюрьма — специальное капитальное здание, построенное ещё при царе. Для содержания заключённых всё продумано до мелочей. Лестничные пролёты — ограждены сеткой. Коридоры — широкие. Пол выложен плиткой. В камерах — умывальники и унитазы. Койки на день крепились к стенам. Столы и стулья — привинчены к полу. Кругом — идеальная чистота и порядок, тишина. И надзиратели не надрывают голосовые связки, а говорят с нами чуть ли не шёпотом. В камерах

— радио, газеты, настольные игры. В библиотеке можно взять книги для чтения.

На стене — правила внутреннего распорядка, и всё здесь выполняется строго по распорядку. В камере — 12 человек, все местные и молодые. Большинство осуждены по ст. 58-1а на срок от 8 до 15 лет, как немецкие пособники за то, что они, насильно мобилизованные немцами, работали на восстановление дорог и мостов. И только несколько человек — по Указу от 07.08.1947 г. «За хищение социалистической собственности». «Расхитители», работая на производстве, стащили кто банку краски, кто доску, кто катушку ниток, а кто и кусок проволоки — и получили за это от 5 до 12 лет.

В этой тюрьме на работы не выводили, кормили три раза в сутки, и довольно-таки сносно. Здесь я выспался, хорошо отдохнул после «Почтового», встретил 1 Мая. Кстати, в советских тюрьмах и лагерях отмечать праздники улучшенным пайком не принято.

После медкомиссии и заполнения бумаг всю нашу камеру отправили этапом в Оршу. Местные радовались, что не в «Берёзу Картузскую» — о ней шла дурная слава.

Везли в настоящем «Столыпине» (спецвагон для перевозки заключённых) — совсем другое дело! Разрешалось не только сидеть, как в «Почтовом», но и лежать, спать, ходить по купе, смотреть в окно. Конвой попался не злой, не допекал придирами. В окне мелькали разорённые войной строения, вдоль железной дороги — неубранная немецкая военная техника, копошащиеся люди. На узловых станциях к нашему «Столыпину» добавляли вагоны с заключёнными: по одному, по два и больше. В Оршу наш «Столыпин» прибыл не прицепным, а в составе целого эшелона заключённых.

Оршанская пересыльная тюрьма оказалась рядышком с железнодорожной станцией. Несколько десятков шагов — и мы уже сидим на тюремном дворе, окружённые пятиэтажными зданиями с решётками на окнах, в ожидании распределения по камерам.

Мне досталась камера аж на четвёртом этаже. Она хоть и большая, но для более чем тридцати человек — тесноватая.

Вид её резко отличался от камеры в Бресте: исцарапанные надписями грязные облупленные стены, плохо вымытые замусоренные полы, загаженные клопами нары без матрацев и подушек, духота и вонь от громадной «параши».

Прямо по центру — единственное окно с решёткой, но открытое настежь на обе створки; по правую сторону у стены — нары; под левой стеной — стол и несколько деревянных скамеек. Вода для питья — в бачке с кружкой на цепочке. Рядом — «параша».

Заняв место на нарах, я поинтересовался надписями. Кроме обилия традиционных типа: «Здесь был Вася», были и выходявшие за принятые рамки: «Смерть Сталину — да здравствует Трумэн!» или «Трумэн, вызволи и спаси нас!» Удивительно, что надзиратели не обращали на них никакого внимания.

Сокамерники занимались кто чем. Блатные на верхних нарах, у самой двери, резались в «Буру» (карточная игра), их малолетние «шестёрки» (подручные) носились по камере, затевая игры с подвохом, типа «велосипед» (спящему между пальцев ног вставлялись бумажки и поджигались; когда припекало, тот начинал быстро двигать ногами как при езде на велосипеде).

В окно, выходявшее на тюремный двор, было видно далеко за пределы тюремных зданий. Совсем рядом тянулось железнодорожное полотно. По нему круглосуточно взад-вперёд сновали поезда. За железной дорогой — поля. За полями виднелся лес.

На тюремном дворе часто появлялись люди: тюремная обслуга, этапники. Но наибольший интерес вызывали женщины. Когда они появлялись — вся камера устремлялась к окну, и затевались обоюдные непристойные словесные перепалки. Ядовитые вопросы и не менее ядовитые ответы порождали всеобщий хохот и шум. Тогда в камеры врывались надзиратели и отгоняли от окон, угрожая забить их наглухо.

Надзиратели уходили, окна отворялись, и всё начиналось сначала.

Многие пытались днём отоспаться, так как ночью спать не давали клопы. Их было великое множество. Невольно вспоминался шлафзал в Заксенхаузене, где этой погани не существова-

ло.

Иногда в камере устанавливалась всеобщая тишина. Это — когда слово предоставлялось «романистам», знавшим на память не только стихи, но и целые романы. Никто не смел мешать рассказчику. «Романисты» в тюрьме — уважаемые люди.

Камера часто превращалась в дискуссионный клуб, когда в неё проникала очередная «параша» (недостоверный слух). Чаще всего это были слухи об амнистии, которую якобы тюремное начальство от нас тщательно скрывает. Сочинители «параш» всегда «точно» знали всё: и что делается в мире, и в тюрьме. Вот одна из них: «Трумэн Сталину предъявил ультиматум: или он по-хорошему распускает по домам всех заключённых, или США объявляют СССР войну. Срок — 10 дней». Услышав такое, люди возбуждались, спорили.

В Орше я пробыл неделю или чуть больше. Наконец, традиционная медкомиссия, заполнение формуляров и — с вещами на этап.

Уже на тюремном дворе нас разбили на группы повагонно. Номер группы был номером вагона, в котором повезут. На станции нас погрузили в товарные вагоны, приспособленные для длительной перевозки заключённых, длиннющего эшелона. Погрузившись и недолго простояв, мы двинулись в сторону Москвы. В вагоне, по обе стороны дверей — двухэтажные голые нары. Одна из дверей заколочена наглухо, и в неё встроено дощатое корыто для нечистот. Тут же стоял большой бак для слива, умывания и питья. Окна — в колючке, с приподнятой под углом ставней. Мне удалось занять место у окна на верхних нарах. Через образованный ставней треугольник всё было видно.

Моими ближайшими соседями по нарам оказались пожилой бывалый зэк и лет под тридцать связист, выдававший себя за разбитного, бесшабашного малого. Пожилой так и не сказал, за что сидит. А связист попал по Указу от 07.08.1947 г. на 12 лет то ли за моток проволоки, то ли за телефонный аппарат, то ли за то и другое вместе.

Пожилой вёл себя степенно, был неболтлив, хотя, как выяснилось позже, знал немало. Зато второй — не умолкал.

Любил критиковать наше бытиё и колхозы, часто напевал: «Не нужен мне берег турецкий, и ты мне, Москва, не нужна...»

Всем было интересно, куда нас везут. Все строили догадки, спорили. А мой пожилой сосед посоветовал «вздремнуть минут шестьсот до первых молотков», а после Москвы, возможно, «куда везут» прояснится. Я ещё не знал, что такое «первые молотки», но не стал расспрашивать. Убаюканный покачиванием, я задремал под стук колёс и уснул.

Москву проезжали поздно вечером по окружной дороге. Ехали очень медленно, подолгу простаивая у каждого светофора. Москвичи по быстрому писали и выбрасывали прямо в окно письма родным — авось, кто-нибудь подберёт и передаст. Те, кто пытался увидеть Москву впервые в жизни, так её и не увидели: нас везли задворками, среди различных хозяйственных построек. К утру мы выехали на Ярославскую железную дорогу. Узнать же, куда везут — догадаться было непросто. Назывались Печора, Мордва, Урал... Пока что мы тащились по Вятскому краю: дико, сыро, однообразно, уныло — смотреть не на что! И как здесь только люди живут?

После Перми вспомнили «Ивдильлаг». Знатоки, перебивая друг друга, рассказывали об ужасах и дурной славе этого лагеря. Неужто и нас туда?

На Урале появилось много желающих поглазеть в окно. Как и обещал мой пожилой сосед, здесь было удивительно красиво, да ещё всех интересовал столб-граница «Европа — Азия». А вот и он. Ничего особенного — столб как столб. Одна часть стрелки показывала на Европу, другая — на Азию.

Урал позади. Ветка на Ивдиль — тоже. Отпали все уральские и среднеазиатские лагеря. Едем в Сибирь. Сосед сказал, мол, если в Тюмени нас не отправят на лесоповалы, то до Петропавловска можно ехать спокойно, а там, возможно, свернём на Караганду.

Тюмень — неказистое деревянное строение станции, а дальше — сплошная тайга. Благополучно миновали Петропавловск — и мы уже в Омске. Здесь пробыли целый день. Нам организовали баню, прожарку, покормили горячим обедом, сделали медосмотр. Вечером направились в сторону Новоси-

бирска. Теперь отпал и Алтайский край. Продолжаем гадать, куда везут. Проехали Новосибирск — огромный город! Позади остались и шахты Кузбасса. Не завезут ли нас в Ташкент? Слухи о тамошних лагерях — нелестные. Но нет: проезжаем Иркутск. Сосед подсказал: «Скоро Байкал, обязательно посмотрите бюст Сталина».

А вдоль железной дороги до самого Иркутска и после, до самого Байкала — сплошные лагерные зоны. Спускаемся к Байкалу. Слева по ходу — озеро, справа — гранитные скалы. На одной из скал высечен бюст Сталина. Его, якобы, высек заключённый, и за это был награждён орденом и выпущен на свободу. Я не отходил от окна с правой стороны, и таки его увидал. Потрясающее зрелище! Было за что и наградить, и освободить. Второй раз бюст Сталина я видел в 1955 году, когда возвращался с Колымы.

Едем всё дальше и дальше. Позади — Улан-Уде и Чита. До Биробиджана — сплошная тайга. Мы уже устали заводить полемику на тему «куда везут». В такой огромной стране это угадать невозможно. Никогда раньше я не был в Сибири и сейчас убедился, что это не только «медвежьи углы» — тайга, болота, реки, — а и большие современные города с величайшим промышленным потенциалом. А какие названия станций! — Яя, Тайга, Зима, Ерофей Павлович, Петровский завод, Юрга...

Я внимательно рассматривал Сибирь из окна, но часто засыпал. Ночью спать мешали «молотки» — я узнал, наконец, что это такое. «Молотки» изобрели для проверки целостности обшивки вагона: не подпилены ли заключёнными доски для совершения побега? По ночам, на достаточно продолжительных для этой цели стоянках, конвой большими деревянными молотками на длинных ручках дубасил по стенкам вагонов. От неимоверного грохота все просыпались, конвойные, открыв дверь, заходили в вагон и командовали «Вправо!» или «Влево!» Заключённые бежали в указанную сторону. По команде «Пошёл!» все бежали обратно, а конвой нас пересчитывал, подгоняя молотком. Если цифра сходилась, конвой спрашивал, нет ли жалоб. Какие уж тут жалобы — скорей бы на нары!

Таких проверок за ночь было несколько.

Без преувеличения вынужден заметить, что конвой нам попался — сплошное зверьё, издеватели. И где их только понабирали на нашу голову? Надо ещё крепко подумать, прежде чем сказать, какой конвой был хуже, немецкий или «наш». «Наши», пожалуй, немцев далеко переплюнули! В вагон они не заходили, а врывались с перекошенными злобными физиономиями. Разговаривали нехотя, сквозь зубы, смачно перемежая речь отборным матом. Ничего у них никогда не допросишься, даже врача позвать — и то проблема. Особенно нравилось им гонять нас по вагону, устраивая бесчисленные проверки и шмоны. Угрозы и запугивание — главные элементы воздействия на нашу психику.

Едем по «еврейскому» краю. Скоро — Биробиджан. Спрашиваю соседа:

— Неужели евреи могут тут жить?

— Какое там! Евреи здесь не живут и никогда не жили. Это всё — сталинская придумка. Еврейского здесь — только повсеместные вывески и таблички на двух языках: русском и еврейском. А живёт здесь исконное местное население, да русские с украинцами.

От Волочаевки эшелон повернул налево.

— Всё! — сказал сосед. — Если не останемся в Комсомольске-на-Амуре — повезут в Ванино или Совгавань, что одно и то же: пересыльные лагеря на Сахалин, Камчатку, Чукотку или Колыму.

Рассматривая Волочаевские сопки, я пытался найти ту, что заснята в известном в то время кинофильме «Волочаевские дни». Но ни одна сопка из увиденных не была на неё похожа. Спрашиваю соседа: может, он знает?

— Ты что — в самом деле думаешь, что её снимали здесь? Её могли снять и где-нибудь в Крыму!

— А как же тогда делалось обледенение? В фильме показано, как партизаны лили на сопку воду, она моментально замерзала, и япошки соскальзывали вниз.

— В кино возможно что угодно. Не всё, что показывают и говорят — правда.

И он рассказал о строительстве Комсомольска-на-Амуре. Не строили его комсомольцы! На самом деле строителями этого города — от начала и до конца — были заключённые, и он в том числе. Сперва там была только мужская зона. А позже — появилась и женская. Расчёт был таков: после освобождения часть из них переженится и оседет. В какой-то мере так оно и вышло. Но людей всё равно не хватало, и тогда бросили клич комсомольцам и всем желающим.

До Комсомольска было ещё далеко, и пока что видны только болота, топи, валежник из одиноких лиственниц. Одним словом, необжитый край. Интерес вызывали только маленькие здания станций, построенные на китайский манер.

Комсомольск оказался большим и вполне современным городом. Только на противоположный берег Амура пришлось переправляться на пароме: мост ещё только начинал строиться. Переправлялись сразу всем эшелонем. Такого я ещё никогда не видел.

После переправы через Амур я увидел ещё одно чудо: винтообразный подъём на Сихотэ-Алинь. По крутому подъёму наш состав тащили два паровоза, а сзади его толкали ещё три. Первой станцией на Сихотэ-Алинь была «Пивань».

— Теперь уже, — сказал сосед, — нас точно везут либо в Ванино, либо в Совгавань. Оба места — дрянь. Но не будем портить преждевременно себе настроение, давай лучше полюбуемся природой. Такой, как тут, ты никогда не встречал и не встретишь.

И впрямь вокруг была неопишуемая красота. Камни покрыты разноцветным мхом, да и сами, без мха, были разноцветными. В сочетании с зеленью, цветами, диковинными растениями, гористой местностью в слегка туманной дымке — Сихотэ-Алинь запомнился своей оригинальностью.

На следующий день утром мы прибыли в Ванино. Эшелон протащили к портовому причалу. Напротив, шагах в пятидесяти, была видна огромная зона пересыльного лагеря. Не спеша, повагонно, мы выгружались и подходили к воротам. Здесь, построив в четыре шеренги, нас «шмонали», а три надзирателя, прохаживаясь между шеренгами, внимательно всматривались в

лица, отбирая «блатных». Их в лагере поместили в отдельных бараках. Видимо, для того, чтоб они не доставляли лишних хлопот.

Нам называли номера бараков, в которых мы будем проживать, и номера бригад, в составе которых мы будем питаться.

Лагерь оказался не обустроенным и грязным. В бараках — не лучше: облупленные, давно не знавшие ремонта стены, грязные полы, голые нары, клопы и тараканы. Огромная масса народа бродила по лагерю просто так, не зная, чем себя занять. На работы здесь не водили. В сухую погоду — часами наблюдали за морем и плывущими кораблями, за резвящимися в небе военными самолётами. Желающие могли потолкаться на импровизированном базаре-толкучке, где шла бойкая торговля и обмен. В ход шли продукты, одежда, обувь, спирт, самоделки (ножи, заточки, мундштуки, портсигары).

Мне совершенно не хотелось ни на Сахалин, ни на Камчатку, ни, тем более, на Колыму или Чукотку. И я начал поиски путей, чтобы остаться здесь, на материке. Но, если что-то и «наклёвывалось», то мои 58-я статья и срок всегда были «веской» причиной для отказа. Помыкавшись с этим несколько дней в лагере, в конце концов я плюнул и сказал себе: «Будь, что будет! На Колыму — так на Колыму», — и стал вместе со всеми глазеть на пароходы.

Примерно через неделю — традиционные баня, медкомиссия и ожидание этапа.

Утром нашему бараку скомандовали: «С вещами — на вахту!» Около вахты на доске объявлений в списках на букву «С» я нашёл и свою фамилию. Небольшими партиями, человек по 60, нас от вахты отводили на пирс к кораблю. Когда подошёл ближе, на борту корабля прочитал надпись «Джурма». По трапу поднялся на палубу и сразу же спустился в нижний трюм по крутой деревянной лестнице. Весь трюм — сплошные трёхъярусные нары с узкими проходами между ними. Вверху тускло светят маловаттные электролампочки. Воняет ржавчиной и карболкой.

Занимаю нижние нары подальше от центральных проходов, чтобы быть незаметней. В Ванино нас здорово напугали

возможным «беспределом» блатных. Говорили, как только корабль тронется — начнутся потасовки, грабёж и резня. Именно поэтому я поддался уговорам продать свои новые армейские яловые сапоги за 60 рублей и две буханки хлеба — всё равно, мол, в трюме их у меня отнимут за так.

Блатные заняли места на верхних нарах возле лампочек и занялись игрой в карты. Насчёт этого нам рассказывали, что сперва они проиграют свои вещи, потом — чужие, затем — начнут ставить на людей.

Загружались мы долго, но вот, кажется, в трюм уже спустились последние. Заработали машины, загремели цепи якорей, корабль качнулся и поплыл. Спустя несколько часов, увидев, что пока никто никого не трогает, я, осмелев, решил познакомиться с трюмом.

Собственно, кроме как к лестнице, по которой спускались, идти было некуда. У лестницы стояли четыре огромные «параша»-полубочки, рядом — самодельный умывальник-рукомойник сосков на двадцать, в уголочке у стенки — мётлы и вёдра с тряпками. А вверху над головой небо плыло редкими тучами, и свежий воздух. Надышавшись вдоволь я подумал: «Вот бы побывать на верхней палубе и увидеть открытое море!» Открытого моря я никогда не видел. Какое оно? Не зря, наверно, о нём столько книг, стихов и картин!

Вернувшись к своему месту на нарах, я рассказал соседям, где побывал и что видел. Поделился и мечтой увидеть открытое море. Думал, меня засмеют — но нет. Один из соседей сказал, что может это устроить. Его земляк — в бригаде, что выносит из трюма полные параша. Как только они заполняются — их тот час поднимают на палубу и там опрокидывают в море. Если я согласен, он переговорит с земляком, чтобы я его подменил.

Земляк соседа с удовольствием уступил мне своё место, и с его напарником мы потащили «парашу» на палубу. Поднимать по крутой лестнице наполненную вонючими нечистотами полубочку, стараясь её не расплескать, было непросто. Но «охота пуще неволи». Главное, что я на верхней палубе, а вокруг, куда ни глянь — море. С палубы наша «Джурма» среди бескрайнего

моря казалась беззащитной маленькой скорлупкой. Впечатление портил противный холодный ветер с дождём, пробиравший насквозь через шинель. Я быстро продрог и, не мешкая, отреагировал на окрики конвоя поторопиться и спустаться в трюм.

Соседи по нарам спросили:

— Ну что, увидел море?

— Да, спасибо! — а про себя подумал: «И за что его любят моряки? Как это — месяцами, кроме моря, ничего не видеть?»

Понадобилось трое суток, чтобы от Ванино доплыть до бухты Нагаева — ворот Колымы. Трое суток я ожидал, когда что-то произойдёт: драка, поножовщина, ограбление — но ничего этого не было. Или мне просто повезло, или пугающие рассказы — всего лишь байки.

Застопорились машины, загремели цепи якорей — кажется, приехали, и пока неизвестно, куда. Но как только сошли на берег, почти над ухом я услышал недовольный голос:

— Опять эта проклятая Колыма!

Парень, сказавший эти слова, был здесь не впервые.

### **3. Колыма, Колыма — чудная планета, двенадцать месяцев зима — остальное лето!**

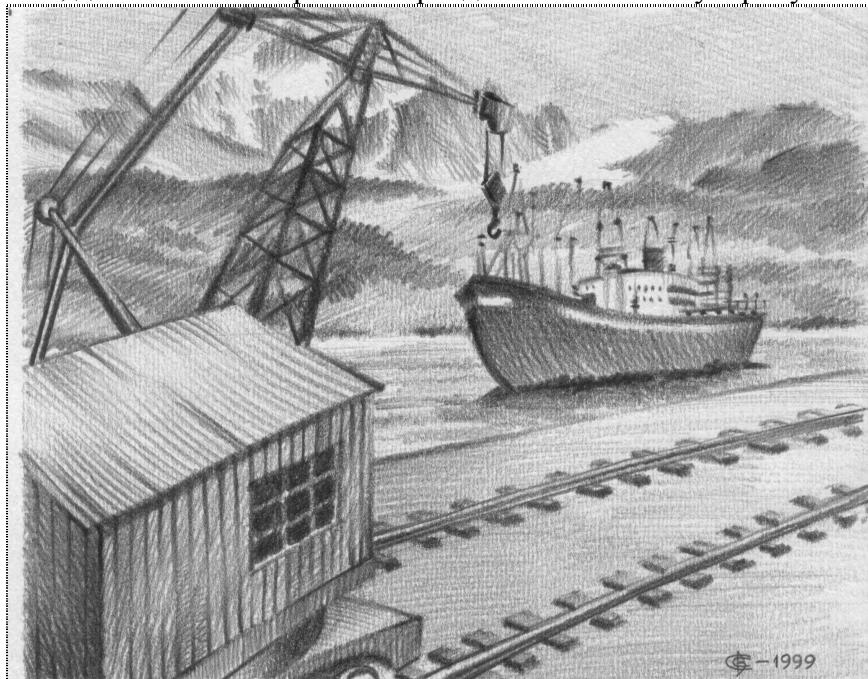
Так пелось в одной из местных песенок. Осмотревшись по сторонам, я решил, что бухта на «ворота» Колымы «не тянет». Слишком уж бедна, если не сказать больше.

Бухта Нагаева — узкая полоска воды, глубоко врезавшаяся в материк. Говорят, что она очень глубокая и никогда не замерзает. По обе стороны — несколько высоких портовых кранов, несколько примитивных строений, некоторые из них даже фанерные. А на воде — четверо кораблей у причалов, да пара резвящихся «утюгов» (буксиров) посреди бухты.

Пока строились, пока нас пересчитывали — подкатали грузовики. Взираемся на них и едем. Вскоре справа по ходу показались окраины города. Это Магадан — «столица» Колымского края. Ещё его здесь называют «Маленькой Москвой».

Миновав Магадан, едем по знаменитой Колымской трассе

— главной здешней автомобильной артерии. Дорога — не асфальт, а укатанный естественный грунт, поэтому немного пылит. Скоро мы сворачиваем налево и дерёмся вверх по склону. Там — Магаданский пересыльный лагерь. Подъезжаем к санпропускнику. Здесь осуждённых окончательно превращают в заключённых. До сих пор мы были одеты, кто во что — в своё, домашнее. Теперь нас переодевают в эковскую робу.



1950 г. «Ворота Колымы» — бухта Нагаева.

Заходим в санпропускник, раздеваемся догола, сдаём все свои вещи, заполняем формуляры, моемся в бане. На мытьё отпускают по два тазика воды. Она привозная, поэтому дорого ценится, хотя уж чего-чего, а воды на Колыме — навалом. После бани одеваемся в робу: бельё, куртка, брюки, шапка, ватный бушлат, ботинки и портянки. Затем нас отводят в основную жилую зону.

Хорошо, что я продал свои сапоги. Воры в трюме возможно бы их и не отобрали, но здесь я бы с ними всё равно распрощался.

В этой пересылке мне не понравилось. Особенно досаждала

лагерная обслуга из эков. Они регламентировали каждое наше движение, мучая всевозможными запретами: там — не сядь, там — не встань, туда — не пойди... А чего строжиться? Делать здесь всё равно нечего, и смотреть не на что — вокруг голые сопки. Вечером заедает мошка, а ночью — холодно, хоть на дворе — июль.

Сидим по баракам и гадаем, куда попадём. До слуха доносятся названия различных этапов: Сусуман, Орутукан, Эльген, Сеймчан, Ягодное, Среднекан и другие, — но они мне ни о чём не говорят. Дня через три вызвали с вещами на вахту — этап. Куда — пока не известно. Уже когда выходили за ворота, я услышал, что отправляют на Пёструю Дресву, и следом — комментарий, что это — «дыра в дыре». «Опять не повезло!» — подумал я.

Подъехали автомобили и увезли наш этап в бухту Нагаева. Там усадили на лавки из свежеструганных досок на самое днище самоходной баржи. Приказали громко не разговаривать и не вставать — конвой стреляет без предупреждения; к «парашам» — проситься.

Заработал двигатель, и мы поплыли. Казалось, медленно. Но по расстоянию от Нагаева до Пёстрой Дресвы этого не скажешь: около 600 км пути мы преодолели менее, чем за сутки. С левой стороны по ходу иногда можно было увидеть сопки, а с правой — ничего: мелькали высокие борта. Днём на солнце было терпимо, а ночью я промёрз до костей. Утром на железе баржи лежал иней.

Наконец, двигатель умолк, мы выгружаемся. Засиделись, с трудом перебираемся на берег по узкому и очень шаткому трапу. На суше — намного лучше, чем на болтающейся в море барже. Озираюсь. Ландшафт вокруг похож на лунный: камни, валуны, галька. Сквозь них едва пробиваются редкие побеги незнакомой травки. Её название — «дресва». Отсюда, наверное, и название бухты.

В этом «порту», кроме небольшой одинокой фанерной будки, ничего нет. Позже я узнал, что здесь принимают корабли. Но сейчас в это трудно было поверить. Правда, корабли бросали свои якоря далеко на рейде, а груз переправлялся на

сушу при помощи таких вот барж, на одной из которых мы приплыли.

Нас строят, пересчитывают, передают другому, местному, конвою. Дороги нет. Шагаем между камнями нестройной толпой. Из-за тумана видно не далеко. В пределах видимости — камни, обилие ручьёв, не растаявший снег. По мере удаления от моря и перемещения солнца обстановка менялась. Вдали заблестели заснеженные сопки, появились сначала редкие, а потом погуще, кусты стланика; через час-другой — одинокие деревья, потом и целые рощи; постепенно менялся зелёный покров на земле. К вечеру мы добрались до настоящего леса. За день порядком устали. И не только из-за бездорожья, но и по причине многочисленных переправ через потоки воды, превратившиеся в бурные реки. Переправами в большинстве случаев служили поваленные деревья или одинокие брёвна, балансировать на которых было непросто.

В одной из рощ на огромной поляне мы остановились на ночлег. Кольями обозначив территорию, охранники предупредили, что выход за её пределы запрещён — «конвой стреляет без предупреждения». В импровизированном лагере позволяется ходить, разжигать костры, готовить пищу, ужинать и готовить себе ночлег из подручных средств. Подручными средствами были ветки стланика.

Вскоре запылала костры. В котелках и консервных банках кипятилась вода из снега. Благо, его здесь было в изобилии. Кто имел что жевать — тот жевал.

«Блатные» разводили костры не стали — они их отняли у «мужиков» («мужиками» назывались все заключённые, кроме воров). «Блатные» подходили к приглянувшемуся костру и «предлагали»: «Кто чувствует себя лишним, от костра уйдите!» Лишними, конечно же, были хозяева костров.

Примерно таким же образом «блатные» раздобыли себе и ужин. На всех жующих они натравили своих «шестёрок» (малолетнюю шпану). Те подбегали и отнимали пищу. Не все, правда, мирились с подобной экспроприацией, и некоторые надавали шпане по шее. Это сопровождалось громкими криками и потасовками. Но общий галдёж не привлёк внимания конвоя —

сами, мол, разберутся.

Бушующую массу успокоил властный громкий голос:

— Тихо! Сейчас с вами будут говорить люди! — (людьми воры считали только себя).

От небольшой группки отделился непримечательный собой человек, поднял вверх руку и произнёс:

— Ш-ш-ша! Беспредел прекратить, всё отнятое вернуть до нитки! С этой минуты, кто обидит мужика — пощады не ждите! Слышали?

Галдёж и возня больше не поднимались. Все разошлись к своим кострам, а потом занялись приготовлением ночлега. Воры дали всем понять, кто в лагере хозяин.

По примеру других, я тоже наломал веток стланика, сложил их на кучу и улёгся, не раздеваясь.

Проснулся я от холода. Дыхание вечной мерзлоты добралось до меня сквозь ветки и ватный бушлат. Даже ноги замёрзли.

Один за другим просыпались и остальные. Вновь запылали костры. Разогрев кипятком желудки, по команде конвоя мы построились и потопали дальше.

Сегодня было по-другому. Вскоре мы вышли на нормальную дорогу, и идти стало легче. Окружающий нас пейзаж менялся прямо на глазах. По обе стороны дороги — настоящая тайга, а на обочинах — густая трава, летают бабочки, жужжат насекомые, щебечут птицы. Над тайгой возвышаются сверкающие снегом вершины сопок. Правда, донимала мошка, норовившая облепить лицо, но это не умаляло впечатления от окружавшей нас красоты.

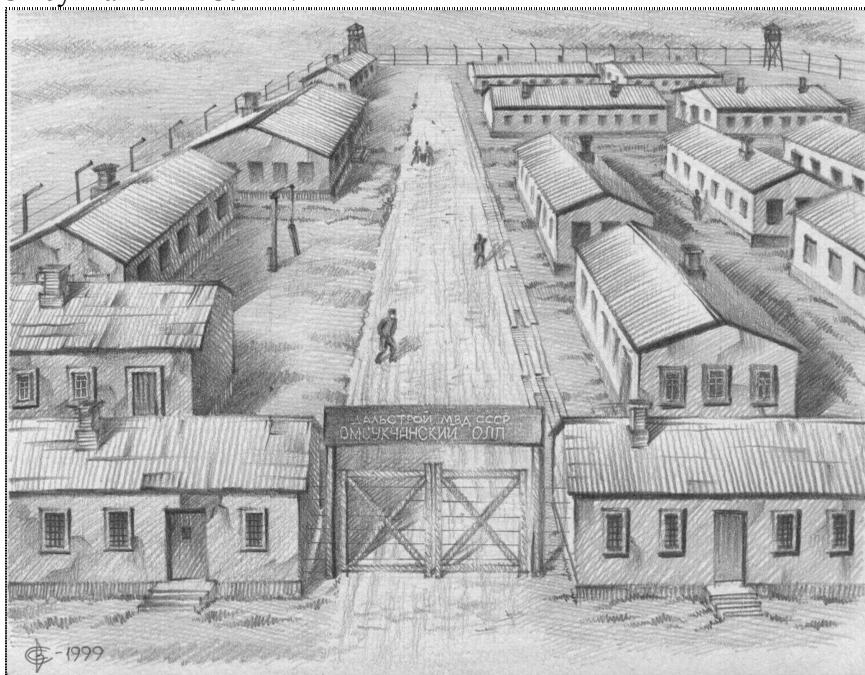
К обеду мы добрались до посёлка со странным названием «64-й километр». Посёлок напоминал типичную русскую деревню с её срубам. Только крыши здесь покрыты не тёсом, а дранкой.

За посёлком, после небольшого привала, нас ожидал сюрприз: дальше нас повезли на грузовиках. Первые укатили на Галимый. Оставшихся людей, в том числе и меня, отвезли в Омсукчан. И это было для меня, как оказалось позже, подарком судьбы. Хорошо накатанная грунтовая дорога изрядно пылила,

но ехали мы очень быстро, с ветерком. К этому обязывала традиция колымских водителей — гонять машины только на бешеной скорости. Кстати, все водители оказались бесконвойными заключёнными, что было для меня неожиданным.

Миновав угольную шахту Галомого, через 24 км мы были в Омсукчане. На окраине мы свернули налево, и, проехав улицей — справа дома, слева сопки, — через несколько минут остановились у самого лагеря, расположившегося в конце местного аэродрома.

Построив по пять, нас усадили прямо напротив ворот. На арке, что над воротами, я прочёл «Дальстрой МВД СССР. Омсукчанский ОЛП».



*1950 г. Омсукчанский лагункт.*

Развеялась пыль от уехавших грузовиков, и со ступенек шахты спустились и подошли к нам начальник спецчасти со свитой. Вместе с ними — один в арестантской робе.

Начался отбор нужных специалистов. Начальник спецчасти громко называл профессии, а те, кого это касалось, поднимали руки. Начальник подходил к каждому из них и, заглядывая в

формуляры, уточнял, насколько тот или иной специалист ему подходит. Отобранные выходили из строя, образуя отдельную группу.

Начальник называл много профессий: требовались обработчики по металлу и дереву, шофера и бульдозеристы, авто- и электрослесари, крановщики и строители, инженеры и врачи, люди, просто имевшие высшее образование, художник и повар. Но ни одна из этих профессий мне не подходила — ничего подобного я не умел, а в строители — не хотел.

И вдруг я услышал и не поверил своим ушам:

— Музыканты духовых оркестров имеются?

В ответ — молчок, и ни одной поднятой руки.

— Повторяю: кто умеет играть на музыкальных духовых инструментах?

Вижу — поднялась одна рука. Я поднял и свою.

— Только двое? Не густо. На чём играл? — спросил начальник того, который первым поднял руку.

— На альту (правильно — «на альте»).

— Ясно. А ты на чём? — обратился ко мне.

— На кларнете. Могу на тубе «В», на теноре, на альте.

— Ого! Голосов, проверь! — начальник повернулся к тому, кто пришёл вместе с ним в арестантской робе. — Иди к нему!

Я подошёл к Голосову.

— Где играл? — спросил он.

— В военном оркестре.

— На кларнете какую партию — первую, вторую?

— Первую.

— Хорошо! — удовлетворённо произнёс Голосов и через ворота велел одному из торчавших около них зэку принести кларнет. Пока ходили за кларнетом, Голосов знакомился с другим музыкантом.

— Где играл?

— В заводском клубе.

— Ноты знаешь?

— Да вроде знаю...

— Ладно, беру.

Теперь Голосов переключился на меня: сколько лет я

играю, какой репертуар приходилось исполнять, как оказался в лагере, да ещё и по 58-10? А тут и кларнет принесли с печатными нотами маршевого сборника.

— Пробуй! — предложил Голосов.

Я попробовал, но кроме отвратительного писка у меня ничего не вышло. Чужой мундштук, не по губам трость, кое-где неплотные подушки, пропускание воздуха в коленях (частях кларнета) не способствовали успешному «экзамену». Но, поколдовав над всем этим, я смог исполнить несколько привычных рулад и несложных каденций из исполняемого в прошлом репертуара. Затем проиграл с листа несколько маршей, и Голосов, довольный мною, крикнул начальнику спецчасти, «Годится!»

Петю Старцева — так звали второго музыканта — Голосов проверять не стал.

— Забираешь обоих? — спросил начальник.

— Обоих.

— Ну, бери!

— Пошли, ребята! — сказал Голосов и повёл нас в лагерь.

Омсукчанский отдельный лагпункт — небольшой и убогий на вид лагерь. От ворот тянулась широкая непродолжительная аллея. По обе её стороны располагались бараки и нестандартные неказистые строения. Слева от ворот — вахта (проходная), медпункт, жилой барак, за ним — столовая. Справа — спецчасть, лагерная лавка (магазин), за ними вдаль, в углу возле самой вышки — БУР (барак усиленного режима). Потом — здание конторы, вглубь за которой — поликлиника и больница. После конторы следовал жилой барак, за ним — баня. За баракom аллея поворачивала под прямым углом направо, по бокам аллеи — несколько жилых барачков. В одном из них, с правой стороны, располагалась КВЧ (культурно-воспитательная часть) и библиотека. С левой стороны, напротив КВЧ — мастерская по ремонту одежды и обуви, за мастерской — длинный туалет, за ним — забор из колючей проволоки с вышками по углам.

Немощёная аллея в сухую погоду пылила, а в дождливую — превращалась в грязное месиво. Поэтому по правой стороне

аллеи располагался деревянный тротуар.

И справа, и слева аллея пестрела лозунгами и плакатами, призывающими любить Родину, повышать производительность труда, примерно себя вести, дружно подписываться на заём. Напротив столовой на нескольких стендах — доска показателей соцсоревнования между бригадами, доска почёта с фотографиями победителей, доска с фамилиями не выполняющих производственную норму и отказчиков. Тут же на столбе болталась рельса для подачи лагерных сигналов: подъём, отбой, пожар или всеобщий лагерный сбор.

Позади всего этого, слева, в самом углу лагеря, у вышки — маленький нестандартный барак лагерного духового оркестра. Все строения, за исключением конторы, имели затрапезный вид: облупленные, с некрашеными дверями и окнами. И этот маленький барак — тоже. Перед ним — зелёная цветочная клумба. Но вместо цветов здесь на клумбе выращивают овёс.

Заходим в барак. Здесь чисто и по-домашнему уютно. Некрашенные деревянные полы выскоблены добела, постели на нарах аккуратно заправлены, на окнах — чистые белые «задержушки», на стенах на деревянных колышках по ранжиру развешены музыкальные инструменты, под ними — аккуратно составлены самодельные пюпитры для нот. Молодцы музыканты!

На пяточке, свободном от нар, в самом центре топилась «буржуйка» — обыкновенная железная бочка. У окна стоял стол, вокруг него — лавки для сидения. У двери на табуретке — бачок с водой, на нём — железная кружка. Между нарами стояли тумбочки, одна на двоих. Голосов показал свободные места на нарах: «Выбирайте!»

Я уселся на облюбованное мною место и не мог скрыть своего удовольствия: наконец-то, после более чем трёхмесячного путешествия, я заполучил настоящую постель. Матрац, набитый деревянными стружками, показался мне мягким диваном высочайшего качества. Был уже июль, а я с марта месяца спал исключительно на голых нарах.

Голосов познакомил меня и Петра с находившимися в бараке музыкантами и, сказав, что он сейчас организует чего-нибудь «на зуб», удалился, посоветовав посидеть, передохнуть.

Это было как раз очень кстати, так как я уже двое суток почти ничего не ел.

Минут через десять ребята притащили огромную рыбину — кету — и тут же начали её потрошить, сложив икру в баночку и посыпав солью. Сказали, что завтра она будет готова. Рыбина, порезанная на куски, вскоре жарилась на большом железном противне. Отодвинутый от окна стол быстро наполнялся всевозможной снедью. Чего здесь только не было! Это выходило за рамки самого живого воображения. Из кухни принесли зелёный борщ из редисочной ботвы, рисовую кашу с кусочками мяса, компот, хлеб, несколько селёдок. К ним постепенно присоединились купленные в лагерной лавке миска красной икры, сливочное масло, несколько банок тушёнки, голландский сыр, печенье и варенье. Лагерный «лепила» (медфельдшер) — большой поклонник музыки — достал из-за пазухи грелку с чистым спиртом. «Лепила» в оркестре был своим человеком.

Когда уселись за стол и разлили спирт по полулитровым стеклянным банкам (в ту пору стаканов на Колыме не было), Голосов предложил тост за наше с Петром здоровье, удачу в лагере и быстрейший выход на волю. Все дружно выпили и принялись за закуску. Глядя на наше застолье, невольно думалось: «А на Колыме ли я? Да и в лагере ли? Откуда на столе такое богатство? Ведь я слышался о Колыме совсем иного! Разве можно сравнить мой первый день пребывания тут с первым днём пребывания в Заксенхаузене?»

Потом ещё не раз провозглашались тосты. Я тоже что-то лепетал пьяным языком, выражая благодарность за столь щедрый приём. И опять вспомнив Заксенхаузен, я наклонился к уху Голосова и спросил:

— Лёша, не закроют ли наше застолье надзиратели и не отправят ли всех дружно в карцер?

— Не бойсь, сюда никто не заглянет. Я предупредил дежурного надзирателя, чтобы не мешал.

Я удивился — кто он такой, Голосов? Обыкновенный зэк. А поди ж ты!

Быстро опьянев с голодухи, я покинул стол, завалился на

нары и тотчас заснул. Не знаю, когда и чем закончился наш пир, но утром проснулся с больной головой и скверным настроением.

— Живой? — спросил Голосов.

— Кажется, да. Но чувствую себя препаскудно.

— Ничего, пройдёт. Сейчас поправишься, позавтракаешь — и можешь опять ложиться и отдыхать целый день до самого вечера.

И опять в памяти всплыл Заксенхаузен: как это — целый день? А проверки? А на работу? Ведь сейчас уже не меньше десяти утра!

Но вот я оделся, умылся, вышел из барака, огляделся по сторонам. По лагерю бродят неработающие ээки. Посмотрел на стоящую рядом вышку — нет часового. Оглянулся на противоположную, что у туалета, — она тоже без часового. Обращаюсь за разъяснением к Голосову. И вот что он мне поведал:

— Ежедневных проверок, да ещё и по два раза в день — здесь не бывает. Разве что в воскресенье, да и то не каждое, и перед праздниками. Тогда всех выводят за ворота, в лагере делают всеобщий «шмон» (обыск), после чего в лагерь запускают по одному, при этом обыскивая. Вызывают строго по формулярам. Проверяющий называет фамилию заключённого, а тот — свои имя, отчество, статью, срок. Например:

— Сиренко?

— Виктор Михайлович, ст. 58-10 ч. II, десять лет и три — поражения!

— Проходи!

Потом называется следующий. Вся проверка занимает около двух часов времени.

Что касается «болтающихся днём по лагерю неработающих ээков», то это — люди из бригад, работающих в несколько смен. Для них подъём, отбой и питание не совпадают с работающими в одну смену.

Ну, а на вышках часовые стоят только ночью. И лишь на вышке у БУРа — круглосуточно. Бежать на Колыме не принято: далеко не уйдёшь!

После обеда, когда я более-менее пришёл в себя, Голосов

согласился пройтись по лагерю, чтобы я мог ознакомиться с ним получше. Мы побывали в КВЧ, в библиотеке, в медпункте, где навестили «лепилу», в бане и, конечно же, в лагерном магазине. Вот она, разгадка, откуда брались продукты для нашего застолья. Лагерный магазин оказался исключительно богат ассортиментом, и по ценам того времени — недорого. Тут были разнообразные крупы, в том числе — дефицитный рис; мука; из жиров — растительное масло, комбижир, несколько сортов сливочного масла, включая шоколадное; молочный и яичный порошки; красная икра; из сладостей — несколько сортов варенья в деревянных бочках и металлических банках, несколько сортов печенья, сахар; томатная паста; свинья и говяжья тушёнка; рыбные консервы. Дефицитом был чай — его быстро разбирали «чифиристы». Зато различных сортов цикория и кофе — более, чем достаточно. В общем, были бы деньги. У кого они были — могли позволить себе дополнительную пищу. Чаще всего это был плов, яичница, молочные каши.

Побывав в бане, я захотел помыться. Оказалось, баня работает по графику, и заключённые моются побригадно. Но Голосов пообещал и это устроить. Пошептавшись с банщиками, он сказал:

— Иди в барак за полотенцем и мылом! Можешь захватить с собой Петьку, если захочет, — и быстро сюда!

Минут через 10-15 мы с Петром уже мылись в бане. Баня небольшая, без душа, зато с парилкой на три полки и вениками. Правда, вода — привозная, и отпускала банщиками не более трёх шаек на человека.

Вечером у меня поднялась температура до 39 градусов. Ребята забегали, вызвали «лепилу». Тот установил диагноз: «Резкая смена климата». Лекарства «лепила», заботы Голосова и уход музыкантов за три дня подняли меня на ноги. Я был готов к выходу на работу. Но Голосов возразил:

— Какая работа? Ты уже работаешь. Я устроил тебя в службу. Там платят небольшие деньги и пол дня зачётов, но там ты пока лишь будешь числиться. Срок у тебя большой, набирайся сил, пока есть возможность. Твоя работа — игра в

оркестре, а там будет видно. С кем надо, я договорился.

Я был весьма удивлён «всесилю» Голосова. Откуда это? Он же обыкновенный зэк!

Алексей Голосов — бывший «вор в законе», «завязавший», связи с ворами не порывая, выполняя некоторые их поручения, — для чиновников лагерного самоуправления был авторитетом. А они могли многое. Кроме того, лагерное начальство его уважало как руководителя единственного на весь Омсукчанский край духового оркестра. А оркестр играл не только в лагере, но и за его пределами, «на воле».

И надо отдать должное Голосову — он был прекрасным организатором, неплохо играл на трубе. Не ошибусь, если скажу, что оркестр существовал только благодаря его энтузиазму и напористости. Единственное, чего ему не хватало — так это музыкальной грамотности. Здесь он, как руководитель, был слаб. И я решил ему помочь. Устав от безделья, первым делом я решил исправить дурно звучащие ошибки в некоторых партиях рукописного репертуара, а затем — попытался его пополнить чем-то новеньким. Начал я с составления «Попурри на темы украинских песен и танцев». Их мелодии я хорошо знал. Оставалось только воссоединить, собрать воедино и оркестровать.

«Попурри» репетировалось по частям, по мере готовности. Моя пьеса понравилась музыкантам, и я заметил, что во время репетиций возле нашего барака собираются люди. Оказалось, что это украинцы-оуновцы, называемые здесь «бандеровцами». Их здесь было много. При встречах со мной они уважительно раскланивались:

— А ми думали-гадали: хто це там такі пісні наводить? А це ви!

Узнав, что я из Советской Армии, многие из них старались держаться от меня подальше. Но когда я сказал, что у меня 58-я статья, их симпатии ко мне возобновились. А были и такие, что не гнушались завязывать со мной разговор. От них я узнал, что ОУН и УПА воевали не только с Советами, но и с немцами за независимую Украину.

Пока я не имел денег — питался в лагерной столовой. Воз-

ле самых дверей при входе на маленьком столике стоял бачок с отваром стланика — тёмного цвета, тягучая, горьковато-пригорная жидкость, очень неприятная на вкус, но единственное действенное средство против цинги. У заболевших цингой выпадали все зубы. Принять столовую ложку отвара было обязательным для всех входящих в столовую. За этим ревностно следил стоявший у бачка надзиратель,

В довольно вместительном зале столовой размещались в несколько рядов столы с деревянными лавками. Столовая служила одновременно и клубом, поэтому пищу и хлеб раздавали на сцене. Около сцены всегда стояла бочка с селёдкой или солёными кетовыми головами, и каждый мог себе брать их безо всякой нормы. Бывали случаи, когда вместо селёдки в бочках находилась красная икра.

Для приготовления пищи отпускались вполне приличные продукты: мясо, жиры (чаще — в виде растительного хлопкового масла или комбижира), перловка, ячневая крупа, рис, сушёные картошка и лук, сухофрукты, сахар, манка, вермишель или макароны. Зелёные супы варились из редисочной ботвы, но чаще — из морской капусты. Другое дело, что повара здесь готовили скверно. Именно это вынуждало имевших в карманах деньги готовить для себя что-нибудь повкуснее. Самым главным для меня было то, что голодным в этом лагере никто не был. Ненаевшийся всегда мог попросить и получить добавку.

Мне тоже хотелось иметь свои карманные деньги и пользоваться лагерным магазином. Я часто говорил Голосову, чтобы он подыскал мне подходящую работу. Но Голосов советовал с этим не торопиться: «Срок большой — ещё успеешь нарабатываться!»

Из всего оркестра неработавшими были только я с Голосовым. Даже Пётр устроился автослесарем на автобазу. Работой дорожили не столько из-за денег, сколько ради зачётов. Зачёты 1:3 здесь были реальностью. Капитан Доленко не обманывал: зачёты, денежный заработок, оркестры — всё в этом лагере имелось, как он и обещал.

Однажды я увидел, как к проволочной ограде, что у нашего

барака, подошёл совсем ещё молодой зэк (позже я узнал, что он — «вор в законе»), отцепил от столба и снял несколько рядов колючей проволоки и ушёл «на волю». Я спросил Голосова:

— Это что — побег?

— Нет, — успокоил он меня. — Парень погуляет в посёлке и вернётся. Отсюда ещё никто никогда не убежал.

Но, всё равно, его объяснение с моим представлением об ИТЛ не вязалось.

В конце лета я обратил внимание, что сопки поменяли цвет. Они покраснели. Я поинтересовался у Голосова, что с ними случилось.

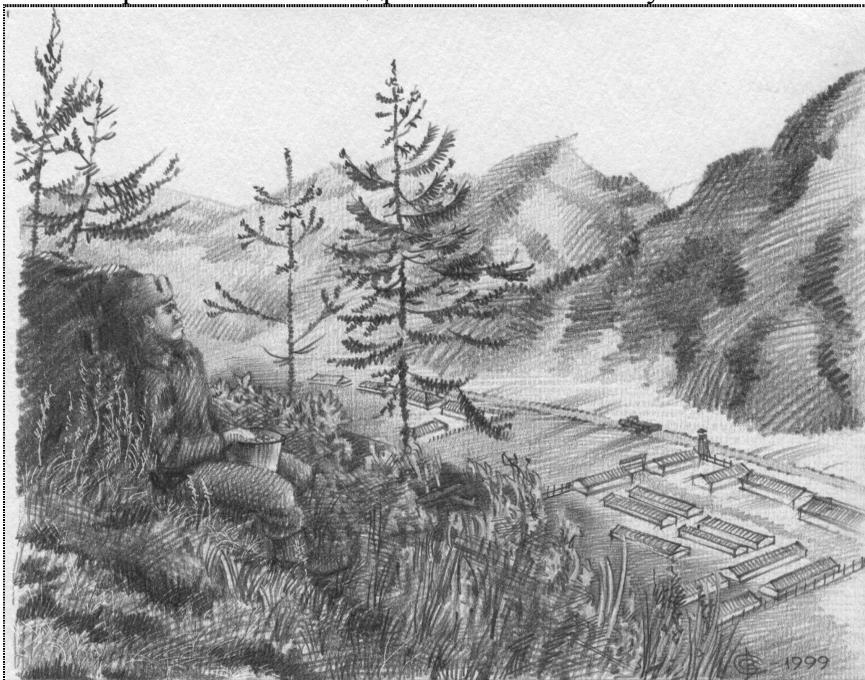
— Это поспела брусника.

— Вот бы попробовать!

— Можно устроить, — безмятежно ответил Голосов. — Пойду только узнаю, кто сегодня дежурит на вахте.

Через несколько минут он возвратился.

— Бери котелок или ведро и пошли на вахту.



*1950 г. Омсукчан. Вылазка за брусникой.*

Надзиратель выпустил меня «на волю», дав указание вер-

нуться на место до возвращения в лагерь рабочих бригад.

Минут через десять я уже взбирался на сопку. Казавшаяся с земли невысокой, сопка заставила меня попотеть, прежде чем я смог добраться до ягод. До её вершины было ещё ой, как далеко! Но даже оттуда, куда я забрался, люди казались муравьями, а дома — спичечными коробками. И какое это наслаждение — быть на воле! Наевшись брусники и насобирав ведёрко, я улёгся и стал смотреть с высоты, что делается внизу, на земле. Отсюда были как на ладони лагерь, посёлок, аэродром. Увидев возвращающиеся с работы бригады, я спустился с сопки и поспешил в лагерь, чтобы не подвести вахтёра.

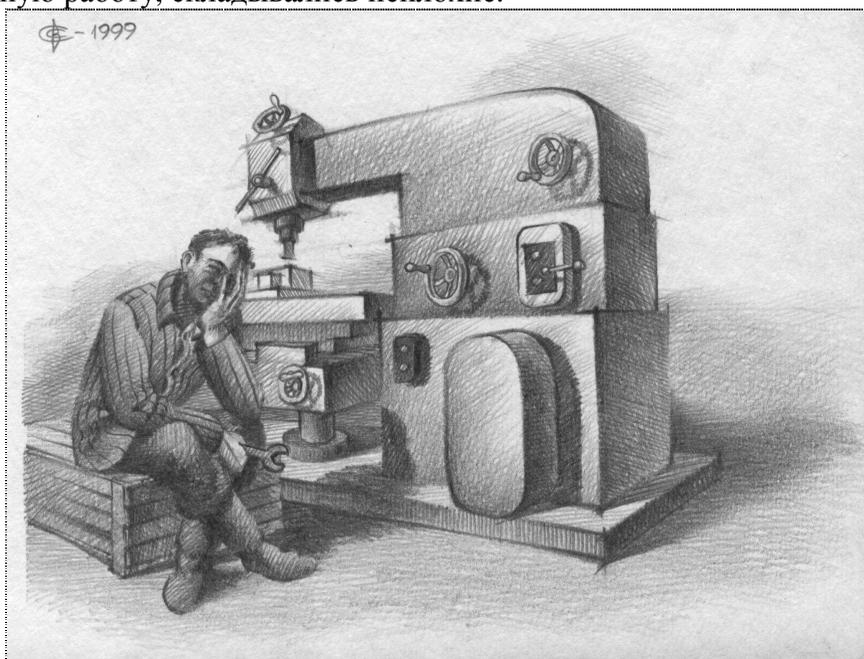
Вечером из брусники мы сварили кисель.

В конце 1950 года мне удалось уговорить Голосова подыскать мне бригаду с высокими зачётами. Самые высокие зачёты получали специалисты: слесари, токари и все станочники по обработке металла или дерева, шофера, бульдозеристы, электросварщики, электрики, кочегары и т.п. Такой была бригада ЦРММ (Центральные ремонтно-механические мастерские). Как только туда понадобились ученики — я стал одним из них. Я хотел стать токарем или фрезеровщиком, но меня уговорили на строгальщика: токарей и фрезеровщиков достаточно, а строгальщиков не хватает. И заработок, и зачёты у них ничуть не меньше, а даже больше. Проверив, я убедился, что это действительно так: зарплата — свыше двух с половиной тысяч рублей, и зачёты — 1:3 (день работаешь — три считается). И я согласился стать строгальщиком.

Ученику полагалась зарплата 450 рублей в месяц и полдня зачётов. Срок обучения — три месяца. Я с азартом принялся за дело.

Моего учителя звали Николаем (фамилию забыл). Он оказался высококвалифицированным специалистом, автором многих самодельных приспособлений, экономивших время и поднимавших производительность. Толково всё объяснял и показывал. Я быстро научился самостоятельно выполнять многие низкоразрядные работы, а месяца через полтора освоил почти всё, что делалось в ЦРММ на строгальном станке «Шепинге». Николай ходил по цеху и покуривал, а я — почти

не отходил от станка, работая. Всё сделанное приписывалось Николаю, а мне доставались только мои ученические. В месяц ему набегало около трёх тысяч рублей и 1:3 зачётов. Это были большие деньги. Насчёт этого капитан Доленко не обманул. Заключение зарабатывали наравне с «вольняшками», с той только разницей, что у заключённых, по сравнению с ними, вычеты из зарплаты были намного больше. Помимо всех налогов, включая заём, 50% высчитывалось на нужды лагеря. И всё равно, после этого ещё оставалась достаточная сумма, чтобы посещать лагерный магазин и пополнять свой лицевой денежный счёт. За время пребывания в лагере там скапливалась иногда довольно крупная сумма. Так что перспективы у меня, как будущего строгальщика, после перехода на самостоятельную работу, складывались неплохие.



*1951 г. Омсукчан. ЦРММ. У своего станка.*

Быстро пролетели три месяца. Я получил четвёртый разряд и был зачислен строгальщиком — сменщиком Николая. Казалось бы, теперь живи, работай, радуйся! Но вместо всего этого — горькое разочарование. Как только я стал самостоятельным, Николай запер свой инструментальный ящик. А без инструмен-

тов и приспособлений много не наработаешь. В заводской инструменталке можно было получить только несколько резцов да гаечный ключ. За все три месяца Николай и словом не обмолвился, чтобы я заблаговременно обзавёлся собственным ящиком с инструментами. Сейчас же занять их не было ни времени, ни денег. Некоторые из окружавших меня сочувствовали, некоторые втихаря злорадствовали, а начальство отнеслось к моим бедам с удивительным безразличием, считая заботы об инструментах моим сугубо личным делом.

Было больно и стыдно, но я не мог выполнить даже норму. Быть в списках отстающих — значит ни денег, ни зачётов, даже пайка хлеба урезалась с 900 до 600 граммов. На питании это никак не отразилось, благо еды в бригаде всегда было вдоволь. В остальном же оставалось только два выхода: или немедленно раздобыть необходимые инструменты и приспособления, или покинуть ЦРММ с позором. Второго мне не хотелось: я неплохо справлялся со станком, был полон сил, энергии и желания, рушилась мечта о досрочном освобождении. Я не знал, как поступить и что дальше делать. Разрешить ситуацию, в которую я попал, помог случай.

В дневную смену ко мне подошли двое: начальник КВЧ и прилично одетый, при галстукке, заключённый.

— Твоя фамилия Сиренко? — спросил начальник.

— Да, — ответил я.

— Поговори вот с этим человеком, — показал он на незнакомца.

— Николаев Александр Алексеевич, — представился незнакомец. — Я руководитель только что созданной освобождённой агиткультбригады. Набираю штат музыкантов и актёров. Нужен музыкальный руководитель, способный организовать оркестр и с ним работать. Условия не очень — 750 рублей в месяц, зачёты 1:1, место базирования — наш Омсукчанский лагерь, объём работы — одна концертная программа в квартал. Соглашайтесь, и я не буду больше никого искать.

Быстро сообразив, я согласился.

— Тогда завтра в ЦРММ можете не выходить, и перебирайтесь в музыкальный барак, там где духовой оркестр. Перевод я

оформлю сегодня же.

К этому времени в связи с посменной работой бригадир ЦРММ велел мне проживать в одном бараке с бригадой. В нём было похуже, чем в музыкальном — людей побольше, клопов много, и духотище...

Наш духовой, несмотря на старания Голосова, «дышал на ладан»: часть музыкантов освободилась, я пропускал репетиции из-за посменной работы, а ученики играть ещё не научились. Теперь же часть музыкантов я сманил в агитбригаду. Прежде всего, двух трубачей: Голосова — солистом. Баритонисту Ворожейкину вручил тубу «В». Ещё одного из тенористов взялся переучивать на второй кларнет. Остальным пришлось покинуть наш музыкальный барак — в него теперь поселялись актёры. Так навсегда развалился лагерный духовой оркестр.

Что там ни говори, а ЦРММ я покинул с сожалением и ещё долго сомневался, правильно ли поступил. С другой стороны — вот они, предсказания капитана Доленко: «...есть там и оркестры, и театры... Будешь работать по своей специальности...»

Николаев раздобыл мне баяниста Лёшу, плохо знавшего музыкальную грамоту, почти что «слушача», гитариста Петю Уткина, он же — акробат-эквилибрист, а в ударники порекомендовал танцора азербайджанца Суруханова, и я приступил к делу.

Первая концертная программа далась нам с величайшим трудом. Особенно тяжело пришлось и больше всех работы досталось мне, музыкальному руководителю и первому заместителю Николаева. Озвучивать программу — хор, солистов, танцевальные номера, одноактовки и сценки, две сольные оркестровые пьесы — оказалось непросто: подпирали сроки. А я ещё толком не ориентировался, что мы можем. А могли мы лишь постигать азы эстрадного исполнительства.

Вскоре наш коллектив агиткультбригады разросся до 30 человек. Работали по принципу взаимозаменяемости. К четырём штатным танцорам добавлялись, по необходимости, те, кто умел. Актёры становились чтецами, певцы-солисты — актёра-

ми. Абсолютно все, кроме оркестра, пели в хоре. Сам Николаев, наш руководитель, конферировал, пел арии из опер и романсы, играл в одноактовках и скетчах, читал стихи.

Нашим украшением в агиткультбригаде были четыре женщины-заключённые, специально доставленные к нам из Магаданского женского лагеря. Две были красавицами, а две — не очень, но все вместе они нам были очень кстати. Они и пели, и танцевали, играли в одноактовках и сценах. Их появление на сцене сопровождалось очень бурными аплодисментами, им прощались неудачи и промахи. И немудрено: на несколько тысяч заключённых-мужчин Омсукчанского управления лагерей их было только четверо.

Наконец, наша первая, родившаяся в муках двухчасовая концертная программа предстала перед строгой комиссией. В неё вошли: представитель политотдела из Магадана, двое из политотдела Омсукчанского управления лагерей, один из секретарей Омсукчанского райкома КПСС, начальник местного КГБ, заведующий поселковым клубом, начальник нашего лагеря капитан Филимонцев, начальник КВЧ и ещё несколько мужчин и женщин, не знаю, кем они были.

Программа была разнообразной (хор, танцы, песни и оперные арии, конференс и шутки, одноактовка, цирковые номера, оркестровые пьесы) и идеологически выдержанной. Что-то из неё похвалили, что-то велели чуть подправить, что-то выбросить, но программу приняли, а меня даже похвалили, хотя сам я осознавал, что хвалить ещё было не за что. Теперь нам предстояли гастроли по лагерям и одновременно подготовка новой программы на следующий квартал.

Надо отметить большую заботу со стороны начальства в обеспечении агиткультбригады всем необходимым: реквизитом, костюмами, декорациями, музыкальными инструментами, бутафорией, принадлежностями для грима и всем прочим, что требовалось, согласно заявок нашего руководителя. Ещё нам в штат ввели художника и костюмера-кладовщика. Фамилию художника не запомнил, знаю только, что он бывший партизан, родом из Харькова. А костюмером стал еврей Смайловский, часовой мастер, отпетый мошенник и проходимец. Но с обязан-

ностями кладовщика-костюмера он справлялся прекрасно.

Первые два концерта состоялись в Омсукчане для первой и второй смен. На премьеру пожаловало всё лагерное и поселковое начальство с семьями. Они заняли первые ряды, а зал был забит заключёнными до отказа. Судя по аплодисментам, концерт понравился. Особенно горячо, на «бис», принимались номера с женщинами. Очень понравившиеся номера сопровождались сверхдобрыми выражением: «С-с-су-у-ка-а-а!» — считавшимся высшей оценкой. Начальство и гости из посёлка тоже остались довольны. Теперь предстояли гастроли по лагерям. Первым из них, куда мы поехали, был Хатарен: лагерь, посёлок и рудник — всё под одним именем.

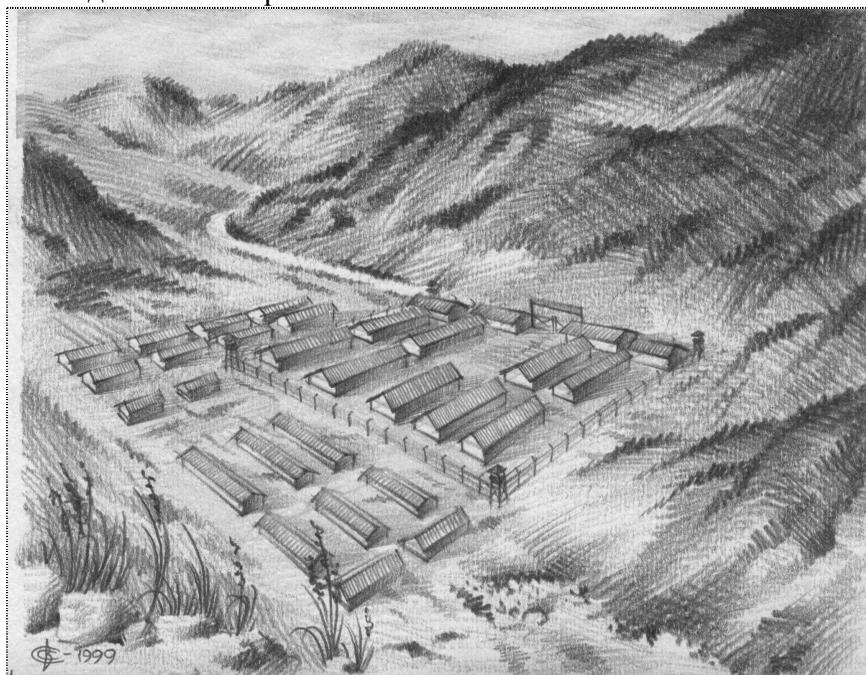
Главным производством на Хатарене был рудник по добыче «касситерита» — стратегического металла, предназначения которого я так и не узнал<sup>1</sup>. Говорили, для военных нужд. Руднику было подчинено всё. Условия работы на нём были очень тяжёлые и опасные для здоровья. Главным бичом его работников был силикоз лёгких. Он приобретался в течение двух лет. Его источником служила рудниковая пыль в забоях. Из-за несовершенной конструкции респираторов люди задыхались и ими не пользовались. Отсюда и быстрое засорение лёгких. Не способствовала здоровью и постоянная в руднике температура +20°С при наружной — более пятидесяти градусов ниже нуля, что провоцировало простудные заболевания. К этому следует добавить ещё очень жёсткий лагерный режим, строго нормированное питание, скудный ассортимент продуктов в лагерном магазине, притеснения и поборы со стороны «блатных», неустроенный быт, «неджентльменское» обращение лагерной администрации — всё это наводит на мысль, что Колыма — вовсе не миф. Она существует, и всего в восьми километрах от Омсукчанского ОЛП. К тому же, Хатарен служил ещё чем-то наподобие штрафного лагеря. Сюда отсылали на исправление

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в оригинале рукописи было «касситирита» — так, как слышал и помнил это название автор. Мне это название тоже ничего не говорит, поэтому с авторского согласия использован вариант написания слова, предложенный словарём Word-a, и далее без кавычек. — *Ред.*

нарушителей режима из других лагерей, как из Заксенхаузена на Клинкер. Содержались на Хатарене, в основном, «тяжеловесы» с продолжительными сроками заключения от 10 до 25 лет, преимущественно рецидивисты и 58-я статья.

Месторасположение Хатарена — со всех сторон зажатого высокими сопками, с единственным узким ущельем для дороги, связывавшей Хатарен с остальным миром — ассоциировалось с преисподней, дополнявшей «прелести» этого лагеря. Не хотел бы я здесь быть! Но вероятность такая была, если б не Голосов с его духовым оркестром. И я понял, как мне повезло, что подобного лагеря я пока что избежал.



*1951 г. Хатарен.*

После первого концерта на Хатарене, сопровождавшегося, как и в Омсукчане, бурными аплодисментами, уже после ужина, к нам подсел крупного телосложения татарин и раскритиковал нашу программу в пух и прах. Досталось от него и мне. Мы, естественно, все очень возмутились: «Кто такой и как посмел?!»

Нашим беспощадным критиком оказался Сеид Османов,

бывший актёр Симферопольского музыкально-драматического театра, осуждённый по ст. 58-1а «За измену Родине» на 25 лет за то, что во время немецкой оккупации он продолжал играть в театре, зарабатывая на хлеб, так как ничего другого не умел. К тому же, ставили они в театре пьесы русских классиков, бывшие вне политики и с той, и с другой стороны. Османов критиковал так аргументировано и профессионально, что возразить ему было нечем, и пришлось наш гнев сменить на милость, признать его правоту. Тут же он дал множество полезных советов и даже провёл занятие с танцевальным коллективом, показав, как надо правильно танцевать «Молдавеныску».

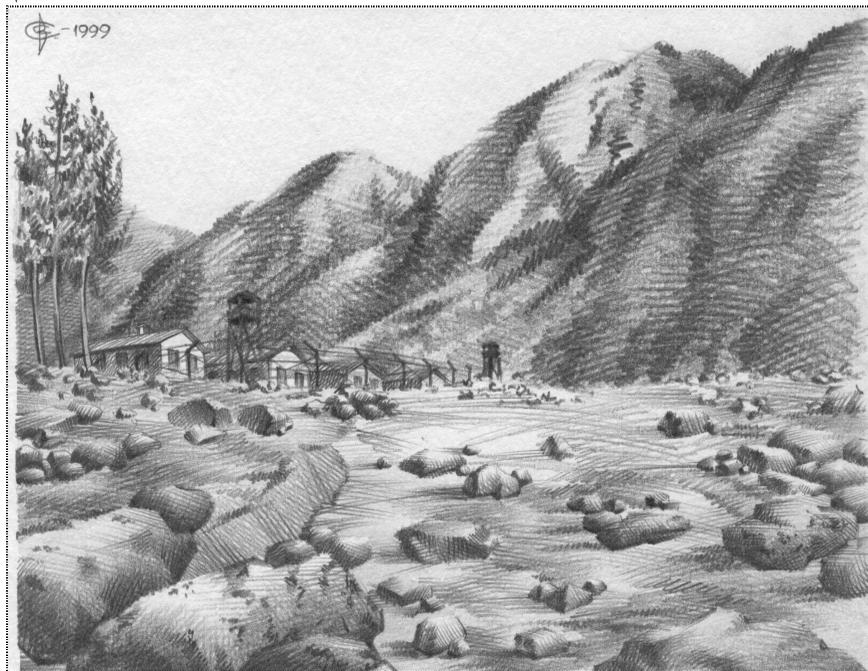
Мудро поступил с ним наш руководитель Николаев, позже добившись перевода Османова из Хатарена в Омсукчан. Правда, взять его в штат актёром не разрешили, но художником — сделали, с правом негласного консультанта. Надо отметить, что Османов своими профессиональными знаниями сыграл в становлении агиткультибригады немаловажную роль. Дела наши заметно продвинулись в гору.

После Хатарена мы побывали на Индустриальном — посёлке, лагере и руднике. Касситерит здесь добывали в той же сопке, что и Хатарен, только с противоположной стороны. Условия жизни этого лагеря мало чем отличались от Хатарена, хотя почему-то считалось, что на Индустриальном всё-таки лучше. Возможно потому, что здесь меньше находилось «тяжеловесов» и, по сравнению с Хатареном, больше солнца: ущелье — шире, а сопки — ниже. Но рудник — такой же, и выбор профессий, помимо рудника, невелик. Мы дали здесь два концерта с ночёвкой и поехали на Галимый.

Лагерь Галимого — самый крупный в Омсукчанском районе. Тут располагались несколько касситеритовых рудников, угольная шахта, обогатительная фабрика, электростанция, большая автобаза, различные мастерские по ремонту оборудования, районная больница с квалифицированным медперсоналом и ещё ряд мелких предприятий, где вместе с многочисленными «вольняшками» работали заключённые. Это обстоятельство многих спасало от рудника, от силикоза, радикулитов, простудных заболеваний. Лагерный магазин был беднее Ом-

сукчанского, но — были бы деньги — всё необходимое приобреталось в посёлке. Лагерный режим — помягче, чем в двух предыдущих лагерях, но в целом на Галимом была такая же Колыма.

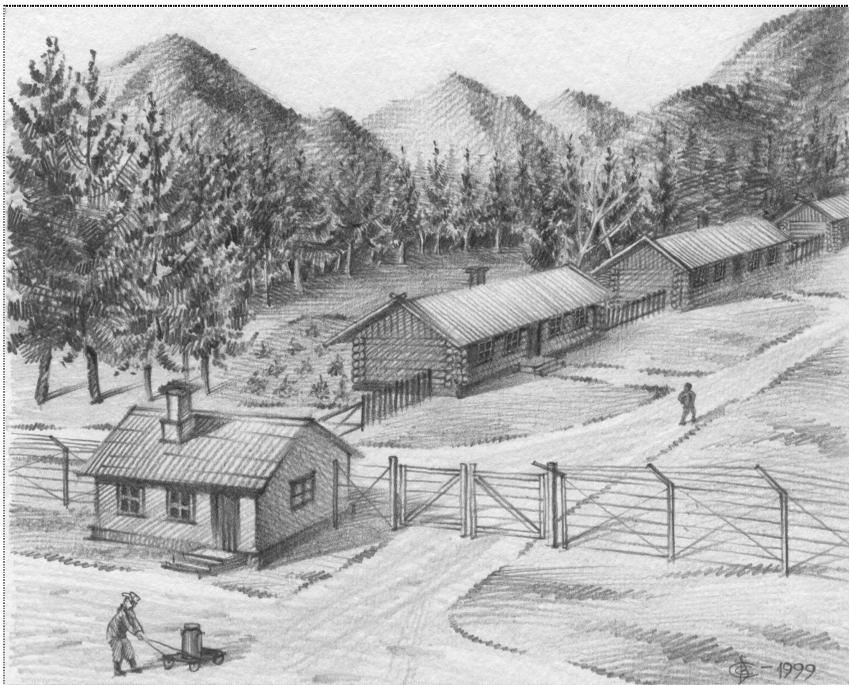
Здесь мы пробыли несколько дней, дали пять или шесть концертов. Я познакомился со здешними музыкантами духового оркестра и взял над ними негласное шефство в пополнении репертуара, вместе со своими духовиками играл на их репетициях.



*1951 г. Галимый.*

Из Галимого нас увезли на «64-й километр». Тот самый посёлок, откуда нас доставили в Омсукчан на грузовиках. В небольшом лагере «64-го километра» содержались заключённые, работавшие на заготовке и обработке древесины. Эти силикоза не знали, пользовались полной свободой передвижения, многие из них имели пропуска «бесконвойников». Лагерный режим не был строгим. Некоторых заключённых вахта выпускала на несколько часов «на волю» под честное слово. Ходили по посёлку и его окрестностям без конвоя под честное

слово и мы. Это доставляло нам огромное удовольствие. Именно поэтому «64-й километр» был самым желанным местом наших гастролей. Нам всегда хотелось здесь задержаться подольше. А ещё нам здесь нравилась баня. Не только потому, что была лучше омсукчанской, но и потому, что она находилась за «зоной».



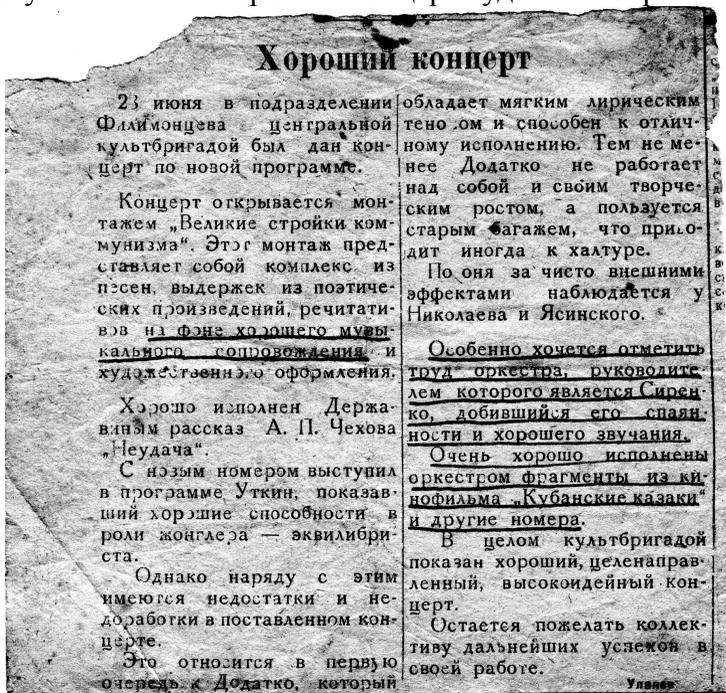
1951 г. «64-й километр».

После «64-го километра» мы возвращались на свою базу в Омсукчан и приступали к работе над новой программой. На обратном пути, на половине дороги до Галимого, мы непременно останавливались в будке дорожников пить брагу. В будке жила семейная пара расконвоированных заключённых, обслуживающая один из участков дороги. Помимо основной работы они ещё промышляли брагой по 2 руб. 50 коп. за пол-литровую банку. Попробовав однажды, я пить её в дальнейшем зарёкся. Брага не сразу ударяла в голову, зато напрочь валила с ног. Кроме бражничества, в зимнюю пору мы в этой будке ещё и отогревались. В любую погоду мы передвигались на открытых грузовиках. Зимой нам выдавали овчинные тулупы до пят, но и

они не спасали от 50-градусных морозов, да ещё и во время движения. Посещением этой будки фактически заканчивались наши гастроли. Иногда мы ещё выезжали на Буксунду — маленький лагерь из четырёх барачков, — но очень редко. Здесь жили заключённые-отшельники. Они без конвоя, каждый в одиночку, бродили по сопкам, собирая золотые самородки и касситерит.

Первая наша концертная программа и первые гастроли состоялись в третьем квартале 1951 года. А организовались мы в мае, просуществовав чуть более двух лет.

Каждая новая программа давалась нам с большим трудом, и «давило» обязательное требование уложиться в срок. Непросто было и с поиском нового репертуара. Но каждая новая программа всегда получалась лучше предыдущей. Мы стали пользоваться авторитетом и у заключённых, и у начальства. наших концертов ждали, о них писали в лагерной малотиражке. Одну вырезку со статьёй «Хороший концерт» удалось сохранить:



## Хороший концерт<sup>2</sup>

23 июня в подразделении Филимонцева центральной культбригадой был дан концерт по новой программе.

Концерт открывается монтажем «Великие стройки коммунизма». Этот монтаж представляет собой комплекс из песен, выдержек из поэтических произведений, речетативов на фоне хорошего музыкального сопровождения и художественного оформления.

Хорошо исполнен Державиным рассказ А.П.Чехова «Неудача».

С новым номером выступил в программе Уткин, показавший хорошие способности в роли жонглёра-эквилибриста.

Однако наряду с этим имеются недостатки и недоработки в поставленном концерте.

Это относится в первую очередь к Додатко, который обладает мягким лирическим тенором и способен к

отличному исполнению. Тем не менее Додатко не работает над собой и своим творческим ростом, а пользуется старым багажом, что приводит иногда к халтуре.

Погоня за чисто внешними эффектами наблюдается у Николаева и Ясинского.

Особенно хочется отметить труд оркестра, руководителем которого является Сиренко, добившийся его спаянности и хорошего звучания.

Очень хорошо исполнены оркестром фрагменты из кинофильма «Кубанские казаки» и другие номера.

В целом культбригадой показан хороший, целенаправленный, высокодейный концерт.

Остаётся пожелать коллективу дальнейших успехов в своей работе.

Удалов.

Своими успехами агиткультбригада была обязана прежде всего её талантливым артистам, таким как Борис Державин — прекраснейший чтец и актёр; бывший певец Киевского оперного театра Василий Додатко; неутомимый и талантливый, хотя и абсолютно безграмотный, танцор — цыган Николай Донченко; наш поэт Юрий Макаров; циркач и гитарист Пётр Уткин; бывший режиссёр Якутского драмтеатра (забыл и фамилию, и имя); солист оркестра Алексей Голосов; наши красавицы-женщины Людмила Завли и Тося Матросова; певец-солист и актёр Василий Кушнир из Фастова; сам Александр Николаев — наш руководитель; баянист — бывший «вор в законе» — Борис (фамилию не помню). Успеху способствовали и музыканты

---

<sup>2</sup> В расшифровке статьи сохранена орфография оригинала. — *Ред.*

оркестра. На их долю доставалось очень много работы. Сам я очень устал и не отдыхал даже во время гастролей. Мне приходилось не только руководить оркестром и заниматься инструментовкой, но и самому играть — солировать — и даже сочинять музыку для сценок и одноактовок.



*1952 г. Мужской состав агиткультурбригады.*

Как говорится, лагерь — лагерем, а «всюду жизнь». Я повторил судьбу Алика из «Абладеркоманды» Заксенхаузена: как и он, стал мужчиной в лагере. Свои шансы я считал минимальными. На четыре женщины — более двадцати мужчин в агитбригаде и тысячи вьющихся вокруг них. Поэтому я даже не пытался заняться флиртом или домогаться сближения. Кроме того, я всегда был поглощён работой. Но, тем не менее, одна из наших женщин — Тося Матросова — стала моей. Это произошло как-то незаметно для меня, без всяких усилий с моей стороны: мы с ней прониклись взаимной симпатией и сблизились. Инициатором нашей «первой ночи» была Тося. Нам казалось, что мы всё сделали для того, чтобы это произошло втайне. Расстались мы с ней задолго до подъёма. Но утром с «победой» меня поздравлял уже весь лагерь. Откуда только узнали? Да и «победы» с моей стороны не было: всем процессом руководила Тося. Я с 15-ти лет скитался по тюрьмам, лагерям, в армии — приобретать опыт было негде.

В дни, когда после гастролей мы находились на базе в Омсукчане, по вечерам, после репетиций и ужина, наш маленький барак иногда превращался в место для посиделок. Разные люди к нам приходили. Нашими частыми гостями были «воры в законе», любившие «потолковать» об искусстве. Я думал, что они умеют только воровать и больше ничем не интересуются. Оказалось, что некоторые из них много видали, слышали, читали, могли завести разговор о балете, о котором мы, агитчики, знали намного меньше, чем знали они, или вообще ничего не знали, как я. Они могли рассказать, кто из артистов балета, в каком спектакле, когда и какую партию исполнял, да к тому же превосходно знали сюжеты многих балетов.

Могли завести разговор о театральной и музыкальной классике и давали понять, что они совсем не дилетанты в этом вопросе. Эти советовали, что нам следовало бы исполнять в зоне для широкой массы, а от чего — воздержаться. Некоторые наши номера они критиковали и подсказывали, как было бы лучше.

Мне говорили, что спорить с ворами — «себе дороже». Мол, если их разозлить — они тут же хватаются за ножи. Ничего подобного! Мы с ними спорили иногда до хрипоты, позволяя в пылу в их адрес даже оскорбительные словечки — и ничего. После жарких споров мы мирно расходились, а на следующий день встречались, как ни в чём не бывало.

Наш третий и последний в агитбригаде баянист Борис, бывший «вор в законе» прекрасно владел баяном, хорошо знал нотную грамоту и баянный репертуар. Всему этому он научился ещё до того, как «завязал», работая на баянной фабрике «Кремине». Зная его интеллектуальный потенциал, язык не повернётся причислить его к каким-то «отбросам общества». Борис мне определённо нравился: тихий, скромный, вежливый, готовый всегда помочь и дать дельный совет, не проявлявший замашек типа угроз, матерщины, драк.

Когда я работал на ЦРММ, мне импонировал высокий, степенный, интеллигентного вида, державшийся с достоинством зэк, наш модельщик. Он имел седьмой разряд — самый высокий в то время — и слыл у нас крупным специалистом своего

дела. С ним очень считалось руководство, обращаясь к нему уважительно. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что он — высокоавторитетный «вор в законе». С виду я бы этого никогда не сказал: я представлял воров другими.

По воровскому закону медики и работники искусства находились в «зоне» под их защитой. Осенью 1950 года был случай: один из «блатняков» зарезал медсестру-«вольняшку» Надежду Падалко. Мы со своим оркестром играли на её похоронах. Убийцу быстро поймали и закрыли в БУР. Но допросить не успели: воры порешили его своим судом.

Чтобы завершить «воровскую» тему и продемонстрировать их положительные стороны, расскажу о случае, коснувшемся лично меня.

Однажды кто-то из наших принёс новость: «В "зоне" появился "вор в законе" по кличке "Цыганка"». Я ответил:

— А мне до этого какое дело?

— Именно к тебе у него и есть дело. Он бывший Тоськин хахаль и воспылав ревностью, запросто может тебя подрезать!

От этих слов мне стало не по себе. А вдруг и в самом деле? От них всего можно ожидать. И я побежал к Тосе.

— В зоне — «Цыганка»! — выпалил я и посмотрел на её реакцию.

— Ну и что?

— Как, «ну и что»? Мне это может чем-то грозить?

— Ах, вот ты о чём! Не бойся, глупенький. Что было — былём поросло. У нас с ним давно всё кончено. Это мне надо бояться, а ты тут не при чём.

Тося мне рассказывала, что у неё был «Цыганка», и даже показала татуировку на внутренней стороне бедра: «Люблю Цыганку».

Она меня не очень успокоила, но Голосов подбодрил:

— Не бойсь!

Вскоре с несколькими ворами в барак пожаловал и он сам. Те воры были мне знакомы, а этот — чёрный, как цыган, молодой и красивый парень — подошёл ко мне, протянул руку и сказал:

— Давай знакомиться. Я — «Цыганка».

Я назвал своё имя и сказал: «Очень приятно!», а сам подумал: «Прямо здесь будут резать или пригласят во двор?» Но он благодушно ответил:

— Знаю, наслышан. Мы с корешами заглянули к вам посидеть, поболтать, если не прогоните.

— Отчего же, — пожалуйста!

Выяснилось, они и в самом деле пришли на обыкновенные посиделки. Никакого разговора о Тосе не было. Я ещё не раз встречался с «Цыганкой», но с его стороны не было ни намёка, ни упрёка.

Не буду больше о воровском «благородстве», но эта организация в лагере была силой с чётко налаженной связью со всеми лагерями. Их «ксивы»-депешки (письма) доставлялись быстрее, чем по почте, нарочными: шоферами, «вольняшками», — и отказаться от этой услуги, увильнуть никто не смел.

Что греха таить — их помощью не гнушались и сами КГБисты: особенно, если кого-нибудь из них обворуют. Пока милиция разберётся — воры найдут и возвратят всё до нитки, и в короткий срок.

Очень желанным гостем у нас был генерал Чистов. Ему в жизни тоже чертовски не повезло, как и мне. В 1941 году он со своим шофёром и офицером связи отправился навестить передовую. Село, через которое ему предстояло проехать, по его расчётам, оставалось ещё «нашим». Но, когда подъехали ближе, шофёр крикнул:

— Товарищ генерал, немцы!

— Гони назад, разворачивайся!

Быстро развернувшись, они попытались удрать. Но немцы уже их заметили, сообразили, что нижние чины Красной Армии легковыми автомобилями не разъезжают, и бросились в погоню, открыв стрельбу. Шофёр был убит, машина угодила в кювет, а генерал тяжело ранен. Офицер связи не бросил своего генерала и вместе с ним угодил в плен.

Выздоровев, сотрудничать с немцами или с Власовым он отказался, и был отправлен в немецкий концлагерь Маутхаузен. Там он встретил хорошо знакомого ему генерала Карбышева. Вместе они таскали камни, вместе тянули тяжёлую лямку

узников этого ужасного концлагеря. По рассказам Чистова, в зимнюю пору обливать водой узников и замораживать их живьём — одна из традиционных забав эсэсовцев этого лагеря. Под их брандспойт мог попасть любой подвернувшийся под руку узник. В тот раз не повезло генералу Карбышеву — выбор случайно пал на него. Его заморозили, и он стал Героем Советского Союза, а его «подвиг» стал известен всей стране. В этом генерал Чистов видел несправедливость. Карбышев погиб, как погибали в немецких концлагерях сотни тысяч узников — и стал героем. Чистову чудом, как и другим, удалось остаться в живых — и его за это, освободив из германской неволи, тут же отправили прямёхонько на Колыму, дав ему 25 лет «За измену Родине». Теперь ежемесячно Москва запрашивает лагерную спецчасть: «Каково здоровье генерала Чистова?» — только и всего.

Генерал был образованным человеком, очень много знал, интересно рассказывал. Мы всегда его слушали, раскрыв рот и затаив дыхание. В том, что он — настоящий генерал, никто не сомневался.

Не слишком часто, но не реже, чем раз в квартал, заходил к нам Марк Удалов, редактор нашей лагерной малотиражки, брать интервью для газеты.

Вечерами завсегдатаями нашего барака был бригадир ЦРММ Малик — высокий симпатичный 30-летний парень, воздыхатель Людмилы Завли, её горячий поклонник. Он приходил не с пустыми руками, а обязательно с подарком для Людмилы.

Ну, а лагерный «лепила» — тот от нас не вылезал. Он переживал за успех наших концертных программ не меньше, чем мы сами.

В общем, «посидельников» у нас было много, всех и не перечислить.

Состав нашей агитбригады постоянно менялся. Кто-то уходил «на волю», кого-то «уходили» по неспособности, заменяя более талантливым, кто-то сам уходил «на зачёты». Очень жаль мне было Алексея Голосова, моего спасителя. У него появилось свободное от забот время, и он ударился в спирт и чифирь. И то, и другое сделало его дальнейшее пребывание в бригаде

невозможным. Постоянно «поддатый», он быстро растерял своё умение. Дошло до того, что на гастролях перед концертами его приходилось разыскивать по всему лагерю, а когда находили — играть на трубе он был не в состоянии. Николаев отправил его на Хатарен. А воспрепятствовать этому я не смог, о чём сожалею и постоянно казнюсь. На место Голосова в агиткультбригаду взяли трубача по имени Володя (фамилию не помню), но ненадолго. Он оказался гомосексуалистом, и Николаев этого не потерпел. После него трубачом-солистом был Саша (фамилию забыл) — очень хороший малый, но страдавший язвой желудка. В общем, не буду всех перечислять. Скажу только, что постоянная смена состава вызывала дополнительные трудности в работе агиткультбригады.

Наверно, я бы работал в агиткультбригаде до окончания срока, если бы не смерть Сталина в 1953 году. Его смерть нарушила привычный ритм лагерной жизни. В связи с большой амнистией кому-то из начальства пришло в голову, что агиткультбригада больше не нужна, так как лагеря если не ликвидируются, то значительно сократятся, и больше некому будет показывать наши концерты. Агиткультбригаду ликвидировали. Часть из нас освободилась по амнистии, остальные разбрелись по рабочим бригадам. наших женщин увезли в Магадан, разлучив меня с Тосей навсегда.

Вывозили их неожиданно, не предупредив даже Николаева. А меня разыскал в лагере сам начальник режима:

— Иди на вахту, прощайся!

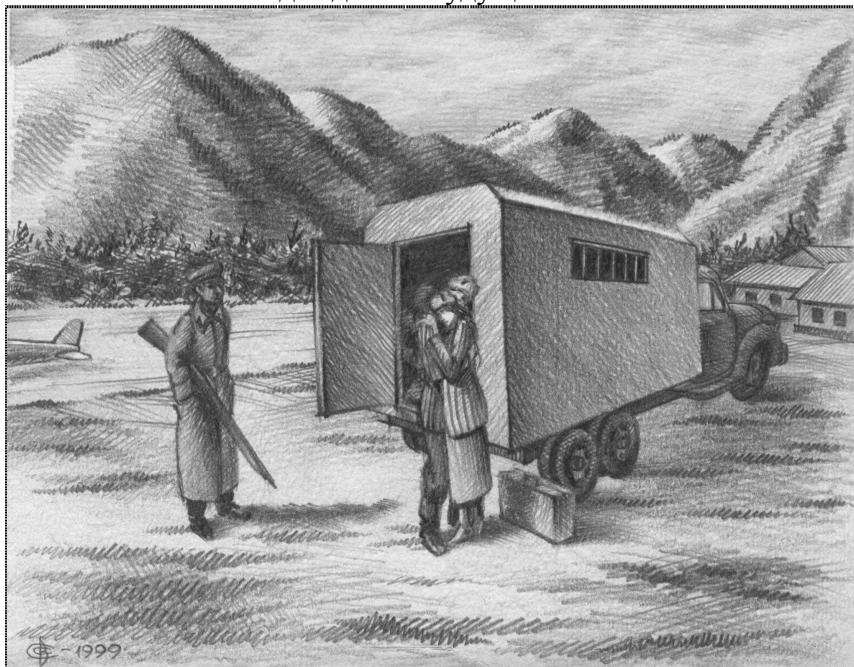
— С кем?

— Там сам увидишь. На вахте знают и выпускают.

Я догадался и побежал. За воротами лагеря стоял автомобиль-будка, а около него стояли с вещами наши женщины. Мы с Тосей расцеловались и договорились один другого не разыскивать. У меня ещё был впереди большой срок, да и моя 58-я статья была для неё пугалом. Она была в курсе дела, как живётся после освобождения таким, как я.

Поскольку 58-я статья под амнистию не подпадала, я решил больше не связываться даже с художественной самодеятельностью, а добывать себе свободу с помощью зачётов.

Местом работы для этого я избрал электростанцию. К строгальному станку я возвращаться не хотел, а решил податься в кочегары или слесари. Пока освободится место ученика, меня приставили к скреперу. Скрепером при помощи металлических тросов подавался уголь для котельной. Я должен был следить за тем, чтобы троса не запутывались. Работа не очень тяжёлая, но на улице, при любой погоде. Зарплата — мизерная, и зачёты — тоже. Но я жил надеждой на будущее.



*1953 г. Прощание.*

Однако в скреперщиках я пребывал недолго, всего несколько дней. Неожиданно ко мне подошёл председатель профкома электростанции Кузьмичёв:

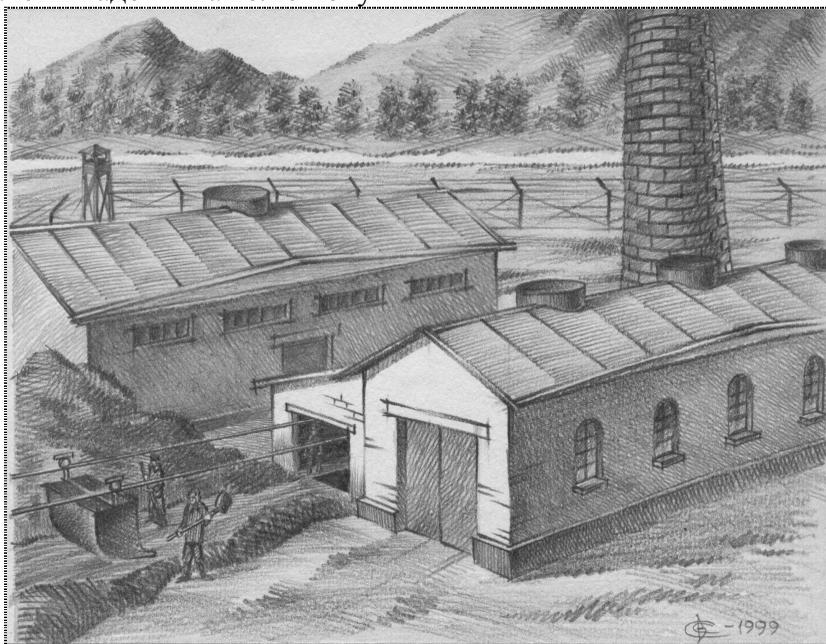
— Это ты был в агитбригаде главным музыкантом? Твоя фамилия Сиренко?

— Да, это я.

— Тебя-то мне и надо. Мы организовали на станции из вольнонаёмного персонала художественную самодеятельность. Не взялся бы ты ею руководить?

— Николай Кузьмич! Мне бы кочегаром или слесарем:

зачёты надо — на волю хочу!



1953 г. У скрепера на Омсукчанской электростанции.

— Погоди, погоди! Будет самодеятельность — будет всё, и зачёты тоже, если согласишься.

— Сделайте меня кочегаром, и будет самодеятельность.

— Пошли к Бутхузи!

Грузин Бутхузи был секретарём парторганизации. Он сказал, что против меня ничего не имеет, лишь бы было дело. Но окончательное решение пусть принимает Прокин. Прокин — начальник электростанции. Пошли мы с Кузьмичёвым к Прокину. Зашли в кабинет. Прокин поздоровался со мной за руку и предложил сесть. Кузьмичёв доложил, что я согласен при условии, если стану кочегаром. Прокин подробно расспросил меня о статье, о сроке, о месте жительства, о родителях, об образовании. Поинтересовался, смогу ли я руководить хором и научить играть на домрах и балалайках наших «вольняшек», — только что поселковый клуб получил целый оркестр новеньких музыкальных инструментов. Я ответил, что смогу.

— Вот и хорошо! Ты пойди — в коридоре погуляй, а мы с Николаем Кузьмичом подумаем, куда тебя устроить на работу.

Я вышел. Минут через пять позвали. Говорил Прокин:

— Мы здесь посоветовались и решили сделать тебя бухгалтером нашей бухгалтерии.

Я опешил и начал говорить, что в бухгалтерии ничего не смыслю и хочу в кочегары или слесари: мне нужны зачёты. А Прокин возразил:

— Представь, что ты кочегар. За смену у котла устанешь, вымажешься — и как ты будешь выглядеть перед участниками самодеятельности? Я предлагаю такой вариант: мы тебя зачислим дежурным слесарем. Там зарплата — 900 рублей, зачёты — 1:3. А работать будешь в бухгалтерии — вести материальный стол. Ясно?

Я всё понял. Кузьмичёв отвёл меня в бухгалтерию и представил главбуху. Тот заартачился: «Не хватало мне ещё зёков!»

— Ты хоть с бухгалтерией знаком? — спросил он меня.

— И не знаком, и бухгалтером никогда не был.

Главбух схватился за голову и побежал к Прокину. Через несколько минут он вернулся и, уже более миролюбиво, сказал:

— Ладно. Будешь работать на материальном столе с испытательным сроком — одна неделя. Если не будет у тебя получаться — выгоню!

Так я стал бухгалтером. К этой работе я всегда относился с предубеждением и даже с презрением. Работу с бумагами я никогда не любил. Но — делать нечего — пришлось учиться. Главбух оказался хорошим учителем и прекрасным человеком.



*1953 г. В бухгалтерии.*

Да и работа, как выяснилось, не такая уж мудрёная, как мне раньше казалось. Нечто подобное я делал, когда служил в армии писарем-каптенармусом, да и старшиной тоже. Я вёл картотеку материальных

ценностей, регистрировал накладные, делал проводки в книгах учёта на получение и списание материалов, инструментов, приспособлений и т.п. Считать на счётах меня учил лично главбух. Недели хватило, чтобы он убедился, что с работой бухгалтера материального стола я справлюсь.

С работой у меня был полный порядок, а вот с самодеятельностью — не получалось: не хватало времени. Смена заканчивалась в 16 часов, а конвой уводил меня в лагерь в 16<sup>30</sup>. Я частенько задерживался на репетициях — работяги и конвой были мною недовольны. А за полчаса по два раза в неделю многого ли добьёшься? Пришлось об этой неприятности доложить Прокину. Он нацелился выступать на 7 ноября в поселковом клубе с концертом. Прокин внимательно меня выслушал и сказал:

— Раз такое дело, мы тебе организуем пропуск на бесконвойное хождение.

Пропуск был оформлен за сутки. И я стал бесконвойником. Правда, передвижение из лагеря на работу строго лимитировалось по указанному маршруту — но это было совсем другое дело! В лагере мне следовало быть к 19 часам.

Но и этого времени не хватало. Прокину приходилось звонить в лагерь на вахту и договариваться, что я задержусь на работе. Успехи самодеятельности стали столь очевидны, что я уже не сомневался в том, что электростанция будет участвовать в праздничном концерте. Мне повезло, что в оркестре прилично играли машинист Чупахин на гитаре и оператор Ян Голембовский на мандолине. Вместе со мной они составили костяк, и наш оркестр зазвучал. Большую работу по организации людей на репетиции проделывала секретарь-машинистка, она же казначей профкома, Людмила Диева. Скрыться от неё было невозможно, и увильнуть от репетиции почти никому не удавалось. Она мне явно симпатизировала и во всём помогала, постоянно докла-



*Ян Голембовский*

дывая Прокину о работе и нуждах самодеятельности. Пятидесятилетняя Людмила Александровна была очень энергичной, заражая этим качеством и других. Она с мужем приехала на Колыму по вербовке, чтобы заработать льготный стаж и досрочно уйти на пенсию. Попутно и деньжат подзаработать, конечно.

В общем, благодаря совместным усилиям профкома, парт-организации, Прокина и моим не в последнюю очередь наш концерт 7 ноября 1953 года в поселковом клубе состоялся. Довольны были все: публика, руководство электростанции и посёлка, а я — так просто счастлив.

Как «нет худа без добра», так и «добра» — без «худа». К моему несчастью, в лагере поменялся начальник КВЧ. Им стал молоденький лейтенант, пожелавший развернуть в лагере бурную культурно-воспитательную работу. О восстановлении агиткультбригады речь не шла, но за создание самодеятельности и воскрешение духового оркестра лейтенант взялся цепко. После амнистии почти все агитбригадники, кроме 58-й статьи, оказались на свободе, и Николаев в том числе. Он теперь работал на Галимом заведующим поселковым клубом. Голосов окончательно спился и тоже освободился по амнистии. «Тяжеловесу» Османову, как «изменнику Родины», лейтенант не доверял и взялся за меня.

Но как раз тогда мне это было ни к чему: у меня была хорошая работа, неплохая зарплата, высокие зачёты, пропуск бесконвойника, — чего мне ещё не хватало для полного счастья? Только не лагерной самодеятельности! Мой отказ и аргументированные доводы на начальника КВЧ никак не подействовали. Я знал почти всех, кто остался в лагере. «Бендеровцы» из ОУН-УПА и 58-я в самодеятельность не пойдут из-за обиды, что не попали под амнистию. Бытовики, которым по амнистии сократили срок наполовину — усиленно нажимали на зачёты. В 1953 году в лагере заниматься самодеятельностью было пока не с кем.

Затаив злобу, начальник КВЧ на какое-то непродолжительное время от меня отстал, вынашивая план «мести». Я это чувствовал, но не знал, каким образом он будет действовать.

Кто-то ему донёс, что я на электростанции работаю не

слесарем, а бухгалтером, и мои высокие зачёты — сплошная «липа». И он решил заставить меня за бухгалтерским столом и разоблачить. Если бы ему это удалось, то и мне, и руководству электростанции грозили большие неприятности. Но лейтенанту не повезло. На моё счастье, в тот день, когда он заявился в бухгалтерию, я находился в инструментальной мастерской и занимался сверкой наличности инструментов и приспособлений. Вдруг забегают в инструменталку один из моих хороших знакомых:

— Витёк, тебя ищет КВЧ!

Где он?

— Пока в бухгалтерии, но скоро будет тут.

Я сразу понял, в чём дело, и поделился своей проблемой со Стёпкой, слесарем-инструменталистом высокого разряда, своего рода мастером — «золотые руки», и просто хорошим парнем. Я с ним дружил. И он посоветовал:

— Скорее мажь рожу и руки грязию!

Я так и сделал, благо этого добра на электростанции хватало.

— Теперь бери в руки напильник, зажимай в тиски гайки и спиливай заусеницы!

Вскоре в инструменталку пожаловали начальник КВЧ и Кузьмичёв. Лейтенант, увидев меня возле тисков усердно орудующего напильником, чумазого и в грязной спецовке, очень удивился, скис, поняв, что его обвели, и план моего разоблачения провалился. Разочарованный, начальник КВЧ отправился к Прокину. О чём они там говорили — не знаю, но Прокин, вызвавший меня, когда лейтенант ушёл, сказал, что больше тот меня трогать не будет.

И всё же, поразмыслив, я пришёл к выводу, что работать мне в бухгалтерии больше не следует, и попросился учеником к Стёпке в инструменталку. Стёпка вот-вот должен был освободиться, и я бы его заменил. Прокин согласился.

Мне очень не хотелось покидать бухгалтерию. Я уже привык к бумагам, и работа бухгалтера оказалась не такой уж и плохой. Я успел стать здесь «своим». А главный бухгалтер изменил свои взгляды на ээков: теперь, кроме меня, в бухгал-

терии работал ещё один — техник по образованию, очень толковый парень.

Я стал работать в цехе, в инструментальной мастерской, пока что на должности дежурного слесаря с теми же денежным окладом и зачётами. У меня отпала необходимость играть «в подпольщика». Это устраивало и меня, и руководство электростанции. Кстати, начальник КВЧ больше меня никогда не тревожил.

Работа в инструменталке оказалась несложной: заточка свёрл, метчиков, зубил, слесарных молотков, резцов, доводка леркодержателей, пробойчиков для прокладок, изготовление шаблонов, выдача, хранение и надзор за исправностью различных приборов и приспособлений. Всё это я полностью освоил и после освобождения Стёпки принял хозяйство инструменталки на себя. Это случилось в начале декабря 1953 года. Позже я сдал экзамен и получил свидетельство слесаря 5 разряда.

На электростанции нередко случались аварии. Особенно много хлопот они доставляли ночью. Аварии устранялись немедленно. Оставлять без электроэнергии посёлки, да ещё и в зимнее время, было равносильно самоубийству. Поэтому, невзирая на ночную пору, конвой доставлял нужных специалистов и из лагеря. В их число обязательно включали меня для обеспечения инструментами и приборами. Это создавало для меня некий дискомфорт. Приняв это во внимание, а также учитывая, что мне до 19<sup>00</sup> не хватало времени для репетиций, Прокин решил оформить для меня круглосуточный пропуск на бесконвойное хождение. Это было вершиной моего счастья. По этому пропуску я имел право круглосуточно находиться за пределами «зоны» и только отмечаться на вахте в удобное для меня время.

Главное управление Строительства Дальнего Севера МЦМ		Гр. <u>Сиренко В.М.</u> окончившему индивидуальное ученичество
<b>СВИДЕТЕЛЬСТВО</b> № <u>128</u>		с оценкой на <u>Отлично</u> присвоена квалификация <u>Слесаря 5 разр.</u>
Выдано гр. <u>Сиренко В.М.</u> На основании постановления квалификационной комиссии вписаны <u>Л.М.Е. Александров</u> <u>ского</u> горно-пром. упр. от <u>6. августа</u> 1954. Протокол № <u>2</u>		Председ. квалификационной комиссии Ст. инженер по технической учебе Фото ( ) м. п. <u>А.В.Сиренко</u> Личная подпись <u>В.М.Сиренко</u>

Свидетельство слесаря 5-го разряда.

Теперь я стал жить прямо в инструменталке. Соорудил самодельную кровать-раскладушку, притащил подушку и тряпье для подстилки, достал байковое одеяло — и постель получилась на славу. Купил себе пару кастрюль, сковородку и стал самостоятельно готовить себе пищу на электроплитке, полностью отказавшись от лагерьной столовой. Я и так редко в ней питался: заимев карманные деньги, ещё в агитбригаде я подкреплялся продуктами из лагерьной лавки. Несмотря на большие вычеты, денег на это мне хватало.



*Слесарь электростанции.*

А всё то, что у меня скапливалось на лицевом счёте — я отправлял матери. Она удивлялась, как это: находиться в заключении и высылать домой деньги. По её понятию, должно было быть наоборот. Но я отказался даже от её домашних посылок.

У меня теперь было всё: круглосуточный пропуск, оклад в 1200 рублей, зачёты 1:3, постоянное общение с высшим руководством и «вольняшками» (в основном — бывшими заключёнными), посильная помощь и внимание — о таком можно лишь мечтать! Как тут в очередной раз не вспомнить моего следователя капитана Доленко, пророчившего мне всё это, ещё когда я сидел в камере КПЗ!

Моим непосредственным начальником стал мой бывший мастер из ЦРММ Иван Гичунас, латыш, осуждённый по 58-й статье на 12 лет, наверно, за то, что он — латыш. Недавно он освободился по зачётам и стал начальником механического цеха электростанции. На родину ему дорога заказана — он был невыездной. Несмотря на всё, он женился на девушке-комсомолке, секретаре комсомольской организации. За это её исключили из комсомола, но от Ивана она всё равно не отказалась. Иван был высокий, красивый, умный, добрый и талантливый. С ним меня связывало давнее знакомство и по лагерю, и по



*В гостях у И.Гичунаса.*

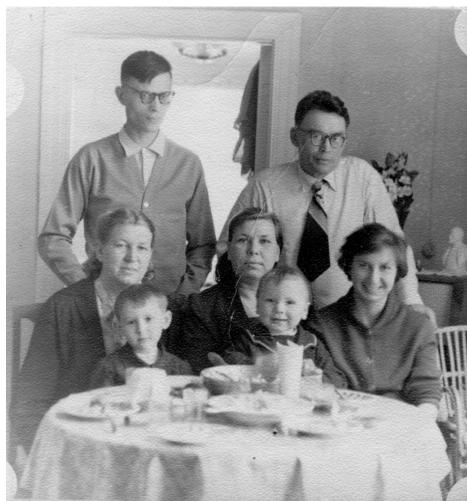
ЦРММ. А сейчас мы просто подружились. Он мне — чем мог — помогал, а я у него часто был дома в гостях.

Имея на руках круглосточный пропуск, я не придерживался строго предписанного маршрута хождения, по-няв, что начальство смотрит

сквозь пальцы на то, что я появляюсь в неположенных местах: в магазинах, в клубе, в домах и квартирах «вольняшек». Наверное, убедившись, что я не способен на пакости и лицо «уважаемое» даже в райкоме партии.

Заработав нужную сумму денег, я немного приделся и купил себе аккордеон. Вспомнив на нём то, что когда-то умел, и позанимавшись, я стал желанным гостем на семейных торжествах и вечерах многих «вольняшек». Деньги за свою игру я не брал. Мне было приятно просто в этом участвовать на равных.

Так я стал частым посетителем дома семьи Марка Удалова, недавно освободившегося и невыездного, как Гичунас. Удалов как был, так и остался работать главным энергетиком ЦРММ.



*В семье М.Удалова. Стоят Ф.Отенберг и М.Удалов.*

Инженером-электриком он стал, окончив Ленинградский электромеханический институт. Некоторое время работал главным инженером на одном из ленинградских заводов. В составе одной из делегаций побывал за границей в Германии. После возвращения из заграникомандировки был арестован и осуждён по КРД (контрреволюционная деятельность) неизвестно за что на 6 лет. Освободив-

шись и став невыездным с Колымы, он женился на местной учительнице из завербованных. У неё было две дочери. Одна училась в выпускном классе, а второй было 11 лет. Совместно они купили дом и были счастливы. Кроме инженерства, Марк Удалов ещё имел дар писателя. Он окончил институт им. Горького и имел диплом писателя-журналиста. В нашем лагере он был редактором малотиражки и частым гостем в бараке агиткультбригады. Мы с ним были не только хорошо знакомы, но и дружны. Теперь я у него на дому учил играть на домре его младшую падчерицу, очень смышлѐную и симпатичную девочку. Часто оставался на ночь и был со своим аккордеоном постоянным участником всех его семейных торжеств. Удалов после освобождения стал печататься в журнале «Колымские огни», получая за это приличный гонорар.



*С дочкой М.Удалова —  
моей ученицей.*

На электростанции я вновь встретился с Петей Старцевым. Ещё по прибытии в лагерь он не стал, как я, «сачковать», а пошёл работать на автобазу слесарем. Позже стал водителем. А после освобождения в 1953 году по амнистии устроился на электростанцию учеником машиниста турбины. После учёбы немного поработал помощником машиниста, а потом стал машинистом. Зимой 1955 года он рассчитался и уехал на родину в свой Сыктывкар, а через несколько месяцев возвратился на Колыму. Он мне так и сказал: «Виктор, там нечего делать!» Из его рассказов следовало, что жизнь на «материке»



*Борис Державин — ведущий  
актёр агиткультбригады.*

намного хуже, чем на Колыме. Устроиться на хорошую работу после заключения почти невозможно. А если куда и удастся устроиться — много не заработаешь, и на эти деньги не проживёшь. Магазины пусты, кругом очереди, блат. Уж лучше пока пожить на Колыме! О дальнейшей судьбе Петра я не знаю, но при мне он опять стал машинистом и хвастался, что заново на свет родился. А я вскоре покинул Колыму.

Вероятно, благодаря протекции жены Удалова, меня в январе 1955 года пригласили в местную школу преподавать уроки пения, которые я преподавал до самого конца учебного года, июня 1955-го. Правда, числился руководителем кружка — не хватало образования.

К февралю 1955 года, по моим подсчётам, у меня уже накопилось зачётов столько, что я должен был освободиться уже в мае-июне. А вечером 6 февраля после смены меня вызвали в лагерь, отобрали пропуск и велели завтра в 10<sup>00</sup> прибыть в один из барачков на заседание комиссии по досрочному освобождению из заключения. Я пошёл в свой барак. Постель моя была ещё никем не занята, но в эту ночь спалось плохо.

Заседание комиссии до боли напоминало обыкновенный суд или военный трибунал с его председателем, двумя заседателями, секретарём, только вместо прокурора был представитель лагерной администрации, но в роли моего адвоката.

Высокий седой подполковник — председатель — зачитал ходатайство лагерного начальства, характеристику на меня начальника службы надзора, производственную характеристику с места работы. Все приведенные документы просили комиссию об одном — немедленно выпустить меня «на волю».

Представитель от лагерной администрации — наш начальник режима, — встав, ещё раз подтвердил ходатайство всех лагерных служб о моём досрочном освобождении.

После этого председатель комиссии, взяв в руки бумагу, произнёс:

— Посовещавшись на месте, комиссия в составе... (перечислялись фамилии) ...постановила: заключённого Сиренко Виктора Михайловича, осуждённого военным трибуналом войсковой части 92401 по ст.58-10 ч.II УК РСФСР на срок 10

лет исправительно-трудовых лагерей и 3 года поражения в правах, из-под стражи освободить. Постановление вступает в силу немедленно!

Представители комиссии меня поздравили и сказали, что я свободен.

Покинув барак, окрылённый, я кинулся на вахту, решив на работе и в посёлке поделиться радостной вестью и дать телеграмму домой. Но не тут-то было! Мой пропуск был аннулирован спецчастью, а выпускать из лагеря без документов вахта не имела права. Сколько я ни доказывал, что уже свободен, что есть постановление освободить из-под стражи немедленно — ничего не помогло: «Давай документ — выпустим!» — был ответ.

В спецчасти мне сказали:

— Сегодня 7 февраля, и с этого дня ты — свободен. Но пока будут готовы документы, пройдёт не менее трёх дней. И это время придётся пожить в лагере, а на работу ходить под конвоем. Потерпи несколько дней — терпел ведь больше!

Пришлось всё сделать так, как было сказано. На следующий день я пошёл на работу под конвоем. Дико было слышать после двухлетнего бесконвойного хождения «молитву», от которой я давно отвык: «...шаг вправо и шаг влево считается побегом. Конвой стреляет без предупреждения!»

Хотелось не только выть, но и плакать. Когда шли, в строю меня подначивали: «Ну, как тебе под конвоем, вольняшка?»

10 февраля меня на работу не выпустили. В 11<sup>00</sup> я получил в спецчасти документы и, счастливый, покинул «зону». Теперь уже — навсегда. И начальник спецчасти, и на вахте пожелали мне счастья и здоровья, а также больше в это учреждение не попадаться.

Первым делом я побежал на телеграф и сообщил матери: «Моя длительная болезнь закончилась 10-го. Скоро вернусь домой».

Но домой я вернулся не скоро. На самолёт денег не было, а дорога через перевал на Стрелку была закрыта. Я пошёл в милицию оформлять паспорт, а потом — на электростанцию, оформляться на работу и устраиваться с жильём.



*На «воле». В общежитии.*

После освобождения у меня почти ничего не изменилось. Я работал там же, получал за работу столько же, правда, жил теперь не в инструменталке, а в общежитии.

Через несколько дней получил паспорт с припиской: «...и положения о паспортах», означающей, что мне запрещалось жить ближе, чем 101 километр от столиц союзных республик и некоторых больших городов наподобие Ленинграда, Одессы и т.п.

Ещё в 1954 году в Омсукчан на работу после окончания педагогических ВУЗов были направлены в школу три девушки-выпускницы. Две из них — Тамара и Лида — из Москвы, а Валя — из Хабаровска. Все трое жили в общежитии в одной комнате. Познакомился я с ними на одной из вечеринок, кажется, у Удалова — его жена учительница. Потом часто с ними виделся на других вечеринках, куда они приглашались. Самой красивой из них была Лида. Но меня тянуло к Тамаре — она была очень умна. Когда она почувствовала, что я прихожу к ним в общежитие ради неё,

сказала:

— Виктор, ты не в ту сторону смотришь! В тебя безумно влюблена Валя — она просто бредит тобой. А на меня не трать время и силы!

Валя была очень фигуристой, красиво сложенной девушкой, разбитной, весёлой и



*Работники электростанции — бывшие заключённые.*

неглухой. Только лицо её было всё в веснушках и малозаметных оспинках, но приятное. Мы с ней проводили много времени на работе в школе. Она руководила школьным хором, а я ей аккомпанировал на аккордеоне. Наверно, мы были бы с ней неплохой парой — она была прекрасным человеком. Но душа моя так к ней и не потянулась. Хотя, возможно, со временем это могло бы случиться.

Лида вскоре вышла замуж за местного инженера — высокого, но нескладного и неказистого. Тамару ждал жених на Торжке. А Валя страдала от неразделённой любви ко мне. Возможно, из-за того, что её Хабаровск был слишком далёк от моей Украины.

Я проработал на электростанции в Омсукчане ещё четыре месяца, пока не открылась дорога на Стрелку. Заработал немного денег и распродал лишние вещи.

\* \* \*

### Служебная характеристика

на слесаря Омсукчанской Электростанции тов. Сиренко Виктора Михайловича.

Тов. Сиренко В.М. за период работы на Омсукчанской Электростанции показал себя честным и добросовестным работником. Все распоряжения администрации выполнял безоговорочно. Активно участвовал в общественной жизни электростанции. Аморальных поступков не имеет. В быту скромен.

Настоящая характеристика дана для предъявления по новому месту работы.

НАЧАЛЬНИК ОМСУКЧАНСКОЙ РЭС  
7 июня 1955 года.

И. С. Ф. М. № \_\_\_\_\_

Министерство металлургической промышленности  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ  
ДАЛЬСТРОЙ

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Полное имя: Сиренко Виктор Михайлович  
 по: Омсукчанская РЭС  
 №: 7 от 1 1955 г. в том, что он работал в Дальстрое с 7 августа 1955 г. по 7 июня 1955 г.

должности: слесарь  
 (сфера деятельности)  
 уволен из системы Дальстроя по собственному желанию  
 от 44 а. в. 9 КЗСОН в связи с местом жительства.  
 (дата и пункт КЗСОН)

Члены семьи, выживающие в быту: \_\_\_\_\_

Место для фотографической карточки члена семьи: \_\_\_\_\_

М.П. Омсукчанская РЭС  
 Начальник Сиренко Виктор Михайлович  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

Место для фотографической карточки члена семьи.

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на слесаря Омсукчанской Электростанции тов. Сиренко Виктора Михайловича.

Тов. Сиренко В.М. за период работы на Омсукчанской Электростанции показал себя честным и добросовестным работником. Все распоряжения администрации выполнял безоговорочно. Активно участвовал в общественной жизни электростанции. Аморальных поступков не имеет. В быту скромен.

Настоящая характеристика дана для предъявления по новому месту работы.

НАЧАЛЬНИК ОМСУКЧАНСКОЙ РЭС  
7 июня 1955

(подпись) П. ПРОКИН

\* \* \*

В Корсунь я возвратился спустя тринадцать лет. До Магадана ехал на грузовике, от Магадана до Хабаровска — летел самолётом, от Хабаровска домой — тащился поездом.

И опять нельзя не вспомнить капитана Доленко. Всё у меня получилось прямо по его сценарию.

Я мало кому рассказывал о своём пребывании в лагере. В нашем государстве об этом лучше было помалкивать. Но кому рассказывал — не верили. Говорили, что я «родился в рубашке». Я тоже иногда об этом думаю и тоже считаю, что мне повезло. Повезло, что попал на Колыму, и не куда-нибудь, а в её тёмную дыру — Пёструю Дресву. Повезло, что попал не на Хатарен, а в Омсукчанский ОЛП. Повезло, что был музыкантом и работал им почти весь свой срок. Повезло, что мне пришлось сидеть в лагере не десять, а только пять лет и два месяца. Повезло, что из этих пяти — больше двух лет ходил без конвоя. Повезло, что на моём пути встретились такие замечательные люди, как Голосов, Прокин, Кузьмичёв, Удалов, Гичунас, Бутхузи, Диева, Николаев, — всех не перечить. Их у меня — длинный список. Только я и сегодня не понимаю, для чего всё это было нужно и кому? И вот с этим-то мне крупно не повезло.

В 1958 году я был полностью реабилитирован «...за отсутствием состава преступления».

## Эпилог

Ещё во время следствия капитан Доленко обещал мне после лагеря жизнь полноправного советского человека. Посмотрим, как это было на самом деле.

В паспорте, выданном мне Омсукчанским РОВД на основании Справки об освобождении, была приписка «...и положения о паспортах», запрещавшая моё проживание ближе 101 километра от столиц союзных республик и крупных городов наподобие Ленинграда, Одессы и т.п. Таким образом, путь к получению образования был для меня закрыт. Я мог стать разве что учащимся вечерней общеобразовательной школы.

К тому же, и Петя Старцев это подтвердил, меня ожидали ещё и проблемы с трудоустройством, я уже не говорю о «поражении в правах». Поэтому по возвращении в Корсунь я не строил на свой счёт никаких радужных иллюзий и был нацелен на работу слесаря машиностроительного завода (до войны — литейного). На что-либо другое у меня просто не было образования.

На моё счастье, в отличие от Пети Старцева, мне не пришлось искать работу — она сама меня нашла. Узнав по каким-то каналам, что я умею руководить духовым оркестром, райком партии, пригласив меня на собеседование, предложил:

— Слесарей у нас в городе и так достаточно, а духового оркестра нет. Рекомендуем вам должность руководителя духового оркестра районного дома культуры, если вы не против.

Я был не против, хотя оркестр надо было создавать «с нуля». Таким образом я стал работать в Корсунь-Шевченковском РДК. Пока создавался оркестр, я разъезжал по полям района с агиткультибригадой, аккомпанируя на аккордеоне. Интересно, что баянистом, хоть место и было вакантным, в штат зачислить меня не могли, так как аккордеон считался идеологически чуждым западным музическим инструментом.

На торжественном собрании, посвящённом 7 ноября 1955 года, мой духовой сделал своё первое выступление. Мы играли Гимн СССР, туш и несколько маршей. Райком партии, руководство культурой и РДК были довольны.

Спустя пару месяцев я создал ещё и инструментальный ансамбль эстрадного плана, как в Омсукчанской агиткультбригаде. Позже такие ансамбли я создавал из преподавателей во всех музыкальных школах, где был директором.

Мои «акции» быстро пошли в гору, да так, что меня взяли ещё и в преподаватели Областных шестимесячных Курсов руководителей художественной самодеятельности Черкасской области при Корсунь-Шевченковском РДК. Я преподавал баян, домру, переложение с фортепиано для баяна. Развернувшись, дополнительно ко всему я стал руководить самодеятельностью швейной фабрики и духовым оркестром в с.Нетребка. В общей сложности мой месячный заработок превысил три тысячи рублей. По тем временам это были большие деньги. Вот таким был мой «взлёт».

После XX-го съезда КПСС, разоблачения культа личности Сталина, шумихи в прессе по поводу необоснованно репрессированных я решил, что настало время попробовать восстановить истину и справедливость. Я отправился в Москву, прямо в КГБ, и там рассказал всё, как было. Полковник, беседовавший со мной, предложил мой рассказ изложить письменно в виде заявления. К написанному я приложил несколько служебных характеристик (чудом сохранившихся дома), подписанных моими бывшими командирами и заверенных печатями, и стал ждать результата.

Результат был потрясающим. Согласно ОПРЕДЕЛЕНИЯ №77(127) от 30.09.1958 г. ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА войсковой части 48240: «Приговор военного трибунала войсковой части 92401 от 14.03.1950 г. ... отменить и дело ... прекратить за отсутствием состава преступления».

Получив реабилитацию, я «задёргался», решив одним махом вернуть всё, что потерял: любимую работу и возможность заняться образованием. Первым делом я попытался устроиться в военный духовой оркестр сверхсрочником — не взяли, невзирая на реабилитацию: «Мало ли что!» Устроился на Кременчугский автозавод «КРАЗ» учеником фрезеровщика — не понравились условия. Мне тогда очень кстати подвернулся в Москве мой бывший военный дирижёр И.К.Липовкин.

Прямо из Кременчуга я отправился к нему в Сибирь. Вызов в Прокопьевскую музшколу к тому времени был у меня в кармане.

В г. Прокопьевск Кемеровской области я стал преподавателем, окончил 10 классов вечерней школы и в 1960 году поступил в Харьковский институт культуры. Первые два месяца жил у Липовкина, потом получил комнату со всеми удобствами в коммунальной квартире, женился, в 1962 году вступил в КПСС. Не хочу сказать, что в партию меня сильно тянули, хотя предлагали много раз. Я вступил в КПСС сознательно. Коммунистическая идея мне нравилась, и нравится до сих пор. Ею ещё долго будут бредить многие поколения. Жаль только, что она так же невыполнима, как и создание «перпетуум мобиле». Она противоречит объективному закону развития человеческого общества, да и самой природе человека. В Прокопьевской ДМШ меня опять «вытащили» на трибуну пропагандиста, которую я покинул аж в 1991 году. Вот таким я был «антисоветчиком».

После Прокопьевска у меня начался «марафон» смены мест и работы. Начался он с 1962 года. Причина — стремление поменять климат для поправки здоровья жены. Так я стал директором Дома культуры винсовхоза «Таврия» в Новой Каховке Херсонской области, потом — преподавателем ДМШ и директором РДК в г. Берислав. Здесь у меня в 1965 году родился сын. В этом же году я окончил Харьковский институт культуры. А в 1966 году мой бывший директор Прокопьевской ДМШ Михаил Васильевич Барсуков, с которым я поддерживал переписку, в одном из писем предложил мне стать директором ДМШ г. Междуреченск Кемеровской области. Он у меня, якобы, обнаружил задатки директора. Подумав, я решил попробовать эти «задатки» реализовать. Начав в 1966-м, я их реализовывал до 1997 года. Сначала в Междуреченске (один год был директором Дворца культуры шахты им. Ленина), затем — в Черкасской области в Катеринополе и Лысянке. Сегодня я — пенсионер.

В общем, всё у меня получилось так, как и предсказывал мне мой следователь — незабвенный капитан Доленко.



*Слева — Александр Николаев —  
руководитель Омсукчанской  
агиткультбригады.  
Москва, Кремль.*

Дальнейшие судьбы большинства персонажей моей повести мне неизвестны. Знаю, что мой бывший военный дирижёр И.К.Липовкин переехал из Прокопьевска в Кемерово и там успешно трудился в ДМШ №1, самой крупной в Кемеровской области.

Со своим руководителем агиткультбригады А.А.Николаевым я встречался много раз в Москве. Как и прежде, он работал художественным руководителем и администратором во дворце культуры в Химках.

Случайно встретил в Харькове нашего лагерного художника, бывшего партизана. Он работал на одном из Харьковских заводов и подрабатывал изготовлением плакатов и лозунгов.

Так же случайно встретил однажды в Киеве и нашего певца-солиста Василия Додатко. В оперном он не работал по возрасту. Жил-перебивался на свою маленькую пенсию, подрабатывая пением в церковных хорах.

Марк Удалов, получив реабилитацию и разрешение на выезд, в 1958 году переехал с Колымы в родные Чебоксары (Удалов — чуваш по национальности) вместе с семьёй. С ним оказался и Федя Оттенберг, тоже мой хороший знакомый по лагерю: и по ЦРММ (высококвалифицированный токарь и фрезеровщик), и как друг Удалова.

А в апреле 1999 года я неожиданно для себя встретился со своей далёкой молодостью, побывав в концлагере Заксенхаузен по приглашению на 54-летие со дня его освобождения

Советскими войсками. Там сейчас создан музей.

Немногое сохранилось из того, что там было: Брама, один барак Ревира, аппэль-плац, дорожка испытания обуви, железобетонные заборы, несколько сторожевых вышек, остатки печей крематория, бараки Вешераи и кухни, один барак «Целенбау», люки для виселицы, паталого-анатомичка, столб, на котором были лагерный колокол и радиодинамик; восстанавливаются два еврейских барака — 38-й и 39-й. Ничего не осталось от Клинкера: ни лагеря, ни завода.



*Остатки Малого лагеря. Видны два еврейских блока №38 и 39.*

*На месте камня-символа на переднем плане размещался 18-й карантинный блок.*

*Заксенхаузен. На дорожке в Малый лагерь:  
В.Сиренко, А.Кондратцев  
и Н.Бельдий.*



*С А.Кондратцевым у места установки виселицы.*



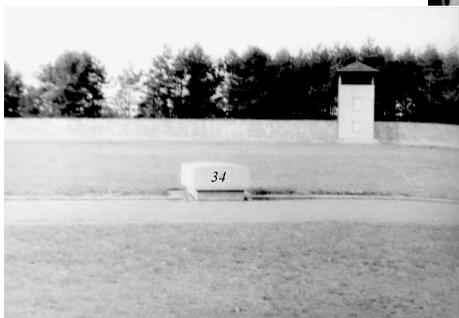
*Гнёзда для установки виселицы.*

*Памятник сожжённым в  
крематории.*



*С бывшим клинкеровцем Фёдором Глухоманом  
на месте аппэль-плаца лагеря внешней  
команды «Клинкерверк».*

*Клинкер. На том берегу канала в  
лесу располагалась команда  
«Гундерцвингер».*



*На месте камня-символа  
находился 34-й блок.*

Я стоял на аппэль-плацу и вспоминал дни, когда огромная масса людей собиралась на этом месте дважды в день. Половина побывавших на этом плацу ушли отсюда «на волю» через трубу крематория. А это — 104 тысячи человек, попавших сюда в большинстве своём случайно, как и я. Будут ли об этом помнить потомки и как долго? Предостережение Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» — всегда актуально. Разве не счастье подарила мне судьба — выбраться отсюда живым и посетить это место через более чем полстолетия!

Мимоходом я познакомился и с современной жизнью немецкого народа. Каково ему живётся без колхозов, социализма, коммунизма, общественно-коллективной собственности, «руководящей и направляющей», без шумной заботы наших политиков о благе украинского народа? «Мучаются», бедные, под гнётом «загнивающего» капитализма. Глядя на них, хочется так и себе.

Правда, у них тоже хватает своих проблем. А у кого их нет? У миллиардеров они тоже имеются: не знают, как и на что потратить свои миллиарды.

1990 — 1999 гг.

## От редактора-ученика

Весной 1974 г. я закончил Лысянскую детскую музыкальную школу по классу аккордеона. Сразу после этого события случилось ещё одно: в музшколе сменился директор. А в последний день летних каникул, 31-го августа, ко мне пристал одноклассник: помоги, мол, записаться в музыкалку: тоже хочу учиться играть на аккордеоне! Я, признаться, сильно колебался: с одной стороны, в это время обычно набор уже закончен, с другой — я ведь знаю, что Юрка Свеженцев и правда очень способный!<sup>3</sup> И все учителя музшколы мне хорошо знакомы... Но ведь класс аккордеона ведёт директор (это я тоже знал), и разговаривать надо будет в любом случае с ним, а он-то новый! Короче, 1 сентября 1974 года после уроков мы впервые предстали пред ясны очи Виктора Михайловича. После спокойного выяснения обычных формальностей прозвучала самая страшная для Юрки фраза: «А теперь устроим тебе маленький экзамен». И после небольшой паузы, как будто догадавшись, что я здесь неспроста: «А ты сам ещё ничего не играешь?» Это было в «десятку»! Я не выдержал: «Юрик, давай "Смуглянку"!» И Юрка, хоть и запинаясь, выдаёт её почти со всеми моими вариациями! (Для меня до сих пор загадка, как он только всё запомнил, ведь с весны он точно инструмент в руках не держал!). Так, с поступления в музыкальную школу Юры Свеженцева, началось наше знакомство с Виктором Михайловичем Сиренко.

Через год, когда, «загоревшись» электронными клавишными инструментами, я снова пошёл учиться в эту же школу, но по классу фортепиано, возникла и осуществилась идея

---

<sup>3</sup> Весной того же 74-го я несколько раз приносил в школу аккордеон: конец учебного года сопровождался не только экзаменами, но и многочисленными праздниками, к которым готовились номера художественной самодеятельности. Тогда наш класс «заболел» «Смуглянкой», и Юра буквально «выжал» её из меня: всё «научи» да «научи»! Я ему и показывать-то её стал, чтобы только отвязался: думал, надоест ведь! А он к моему удивлению вместо этого вдруг начал всё быстро «схватывать», хотя я умышленно ничего не упрощал. Более того, через год Юра Свеженцев стал моим первым «учителем» по классу гитары.

создания эстрадного оркестра из учеников (должен отдать дань памяти Юры Свеженцева: к воплощению этой идеи в жизнь он тоже приложил немало усилий). Я бы сказал так: это была пусть маленькая, но целая большая жизнь!

Впоследствии мне часто случалось «жаловаться»: «Я — человек, с детства избалованный доверием!» Это на Виктора Михайловича. По иронии той же Судьбы Виктор Михайлович для многих стал Учителем как раз того, что он вроде бы отрицает в своём предисловии: «дружба, справедливость, совесть, честь, преданность, порядочность — всего лишь желанные мифы». Именно он выдал нам такой кредит доверия, который для многих стал основой даже не характера, а самого существования. Не раз бывало, что мы обращались к директору с просьбой после закрытия остаться в школе либо открыть школу специально для нас. Не помню ни одного случая отказа. Часто он просто давал нам ключи от школы, и мы САМИ делали там всё, что хотели, в будни и праздники, днём и ночью (да, ночью! — это вовсе не для красного словца)! Сейчас спокойно констатирую, что и мы в свою очередь нашего директора не подводили: мы действительно жили нашей музыкой. Много раз себя спрашивал впоследствии: неужели не страшно было вот так нам доверять? Конечно, определённый риск всегда есть, но парадокс в том, что для детей, которыми мы были (и где-то, хочется надеяться, остались), нет преступления страшнее, чем обман доверия. Много раз впоследствии наблюдал, с каким удовольствием обычно обманывают недоверчивых, подозрительных ко всем людей! Не исключаю, что надзор за нами всё-таки был, а мы на него могли просто не обращать внимания: часто, хотя и не всегда, с нами был сын Виктора Михайловича Стас (тогда он был Стасик, именно он теперь иллюстрировал эту книгу). В то же время не думаю, что он «стучал»: во-первых, он был одним из нас, во-вторых, у нас не было тогда и понятия такого — «стукач». Нет, очень даже возможно, что он рассказывал родителям, чем мы там занимались: но почему бы и не рассказать, если это интересно и действительно здорово? И с кем же ещё поделиться, как не с родителями? Вообще,

доверительные отношения в семье — это отдельная громадная тема, то самое, пожалуй, «с чего начинается Родина»...

С учителями Виктор Михайлович был гораздо строже. При нём музыкальная школа постоянно строилась: добавились новые классы, появился, хоть и маленький, концертный зал, было проведено отопление (до того топились печи). Всё это силами наших учителей-музыкантов под руководством и при непосредственном участии Виктора Михайловича. Тогда многие роптали, да и было от чего! Зато сейчас с какой теплотой его вспоминают!

Когда основная работа над текстом этой книги уже подходила к концу, я почувствовал дискомфорт: конец книги оказался больно затянутым и вроде не имеющим отношения к книге. Приложения сильно разбухли и «вывалились». Гора фотографий, грамот нуждалась в комментариях, которые уже некуда и вроде незачем было вставлять. Они грозили изменить вообще тему книги. Но автор никак не мог изъять из книги «лишние» материалы: «Ведь людям интересно будет увидеть себя!» Спустя какое-то время вдруг стало ясно, что просто невозможно уместить весь материал в одной книге. Когда возникло предложение часть материала оставить для следующей книги, Виктор Михайлович признался, что и сам уж подошёл к этой мысли, и рабочее название новой книги будет что-то вроде «Профессия — директор музыкальной школы». Ведь более чем тридцатилетний опыт работы только на этой должности требует обобщения, и эти, «лишние» сейчас, материалы действительно будут там уместнее...

А потом Он ушёл. Неожиданно даже для себя, не дожив немного до выхода в свет своей первой книги, в самом начале новой работы, не успев обобщить и передать громадный опыт и знания. Осталась Память.

...А выход книги в свет всё откладывался по разным причинам. Отдельные мелкие вопросы и неясности решались уже вместе со Стасом, но май 2008 года принёс новый удар: не стало и Станислава Викторовича Сиренко. Не упомянуть здесь об этом вовсе нельзя, но чувствую, что эта потеря — не из тех, которые можно оценить сразу в полной мере.

Первый тираж этой книги — 500 экземпляров — вышел в феврале 2009 года. Решающим фактором стала спонсорская поддержка Сергея Петровича Левашова — моего директора и интереснейшего человека, настоящего учёного. Правда, в этом тираже оказалось достаточно много брака: пропущенных либо повторенных листов, чистых (непропечатанных) страниц. Хватило и «очепяток» и прочих ошибок. В поиске и устранении этих дефектов, как и раньше во всей работе по набору и редактированию текста, неоценима помощь моей супруги Екатерины. Не могу не упомянуть здесь и консультации её родителей — филологов Натальи Ильиничны Чёрной и Ивана Денисовича Бажинова, советы которых не дали мне — непрофессиональному и неопытному редактору — испортить авторский текст. Очень вдохновляла также моральная поддержка всех, кто знал о подготовке этой книги, а также был знаком с Виктором Михайловичем и Станиславом Викторовичем Сиренко.

## Оглавление

От автора .....	3
Часть I. Grimасы судьбы.....	5
1. Военный трибунал .....	7
2. Нежданный гость .....	8
3. Арест .....	9
4. Следствие.....	13
5. Корсунь. Довоенный период.....	14
6. Война.....	18
7. В немецкой оккупации .....	30
8. В Германии .....	55
9. В остарбайтерах .....	56
10. В жандармерии.....	60
11. В магдебургском ГЕСТАПО.....	61
Часть II. Arbeit macht frei.....	65
В концлагере Заксенхаузен.....	66
1. Первое знакомство.....	70
2. Рабочие команды Заксенхаузена .....	77
Часть III. Чудная планета .....	122
1. Продолжение следствия .....	123
2. Из Шверина на Колыму.....	136
3. Колыма, Колыма — чудная планета, двенадцать месяцев зима — остальное лето! ....	149
Эпилог.....	197
От редактора-ученика.....	204
Оглавление .....	208



B. Сибиряко

Ламповы

“А. П. И. О. Б. Е. Т. П. И. К. А.”

